

- [Эренбург Илья](#)

- 



# Эренбург Илья

## Тринадцать трубок

Илья Эренбург  
Тринадцать трубок  
Первая трубка

На ней значилось: "Трубка системы доктора Петерсона". Конечно, она была сделана в Германии людьми, придумавшими кофе без кофеина и вино без алкоголя. По хитрому замыслу доктора Петерсона, табачный дым, проходя сквозь различные сложные спирали, должен был лишаться всех присущих ему свойств. Но, показывая трубку чопорному покупателю, приказчик магазина "Шик паризьен" вынул из нее внутренности и забыл их вложить назад. Это объяснялось, вероятно, тем, что приказчик был молод и, оценив достоинства молодой актрисы, покупавшей жокейскую кепку, не был склонен оценить труды доктора Петерсона.

Впрочем, Виссарион Александрович Доминантов, крупный сановник и гордость российской дипломатии, купивший трубку доктора Петерсона, оказался не менее рассеянным. Он забыл слова приказчика, установившего непосредственную связь между немецким изобретением и долговечностью людей, и пропажи не заметил. Трубку он решил приобрести после недавнего визита к первому советнику великобританского посольства сэру Гарольду Джемперу. Виссариону Александровичу казалось, что в тесном кругу друзей и приближенных трубка придаст его лицу особую дипломатичность; кроме того, в одном образе - "с трубкой в зубах" - было нечто английское, а Виссарион Александрович почитал все, шедшее с дальнего острова, от политики натравливания континентальных держав одной на другую до горького мармелада из апельсиновых корок. Трубку доктора Петерсона он приобрел, пренебрегая ее происхождением и внутренней организацией, исключительно из-за её формы, напоминавшей подводную лодку. Точно такую же трубку курил и сэр Гарольд Джемпер.

К трубке Виссарион Александрович привык не сразу. Между ней и папиросами, специально изготавливаемыми фабрикой Бостанжогло

из легчайших сортов дюбека, лежали вершины искусства, отделявшие жизнь дипломата от жизни простого смертного. Трубка часто гасла, горчила во рту и требовала тщательного ухода. Как все, принадлежавшее дипломату, как цвет лица его любовницы - колоратурного сопрано Кулишовой, как хвост его рысака Джемса, как маленькая пуговка его ночной пижамы, - трубка не могла просто существовать: она должна была представлять благоустройство и мощь Российской империи. Для этого Виссарион Александрович во время докладов младшего секретаря Невашеина часто скреб трубку серебряным напильником, покрывал лаком и терпеливо натирал замшей. Трубка кокетливо блестела чернью дерева и золотом кольца.

Мало-помалу Виссарион Александрович пристрастился к трубке. Он курил её в просторном кабинете, работая над ворохом донесений, газетных вырезок, шифрованных депеш. Курил и в маленьком будуаре Кулишовой, ожидая пока певица скинет громоздкое концертное платье и порадует суровое сердце сановника невинной детской рубашонкой с розовыми лентами. Курил, наконец, засыпая, оглядывая прошедший день - успехи и неудачи, престиж империи и флирты Кулишовой, богатство, славу и подмеченную в зеркале обильную седину. Когда день был плохой, побеждала враждебная партия фон Штейна, ставленники Виссариона Александровича в Токио или в Белграде делали промахи, управляющий его имениями сообщал о низких ценах на хлеб, Кулишова получала слишком частые подношения от придворного вьюна Чермнова, - сановник раздраженно грыз трубку, и на нежном роговом мундштуке чуть намечался след крупного зуба.

Так настало первое потрясение в жизни молоденькой и фешенебельной трубки. С утра Виссарион Александрович был раздражен плохо проведенной ночью и скверным вкусом во рту. Не дотронувшись до завтрака, морщась брезгливо, он выпил стакан боржома. Невашеин принес несколько телеграмм и газеты. Развернув "Новое время", Виссарион Александрович замер. Его партия была против соглашения с Румынией. Когда поисками фон Штейна договор все же был заключен, он надеялся на мгновенное поражение румынской армии, ибо только в этом видел залог дальнейшего укрепления своей дипломатической карьеры. И вот газета сообщила о совместной победе русских и румын. Сановник был не только

расстроен, но и возмущен. Годами он жил мыслью о том, что его личные успехи и благо России - одно и то же. Если бы сейчас разбили и румын и русских - это означало бы конец фон Штейна, его, Доминантова, торжество, следовательно, счастье горячо любимой империи. Так думал сановник. Так думая, он с отвращением пообедал: бушэ а-ля рэн пахли жестью, а груша пуар-империаль напоминала резину. После обеда он прочел письмо управляющего о том, что урожай всюду плох, что в имении Разлучево сгорели все службы, а в Ивернях, где был лучший конский завод, начался сап. Совершенно расстроенный, Виссарион Александрович решил поехать в неурочный час к Кулишовой, послушать колоратурное сопрано и поглядеть на детскую рубашонку. Но в будуаре он нашел полный беспорядок и, и заглянув в спальню, увидел отнюдь не детскую рубаху Чермнова. Приехав домой, сановник прилег и закурил трубку; болели виски; все ему было противно. Он ясно сознавал, что гибнет Россия, гибнет любовь, гибнет он сам, Виссарион Александрович Доминантов, седой, старый, никому не нужный. Хотелось плакать, но слез не было, и, хмыкнув, он только почувствовал во рту горький, отвратительный привкус.

"Какая невкусная трубка", - подумал он и позвонил.

Вошел Невашеин, подал вечернюю почту и, почтительно осклабясь, поздравил сановника с крупной победой на фронте.

- Идиот! - отнюдь не дипломатично крикнул Виссарион Александрович, зная, что перед ним не сэр Гарольд Джемпер, а простой чиновник, и, немного отойдя, добавил:

- Возьмите эту трубку. Я её больше не буду курить. Подношение по случаю победы. Вы можете быть довольны - это прекрасная трубка системы доктора Петерсона.

Вещь долговечнее слова. На следующее утро Николай Иванович Невашеин уже не вспоминал нанесенной ему обиды и наслаждался неожиданным подарком. Правда, он никогда до этого не курил трубки, удовлетворяясь "Сенаторскими" папиросами (высший сорт "А" - 10 шт, 6 копеек), и, закурив впервые, испытал легкий приступ тошноты. Но все, что делал Виссарион Александрович, было для Невашеина возвышенным и вожделенным. По вечерам, подобрав в кабинете сановника старый номер английской газеты "Таймс", Невашеин шел в пивную Трехгорного завода, спрашивал бутылку портера и быстро,

неуверенно поглощал моченый горох - он подсмотрел раз, как сановник, в павильоне на бегах, заказал себе портеру, но сильно сомневался в том, чтобы Доминантов стал есть низменный горох, к тому же моченный, а пить пиво, не закусывая, секретарь не мог. Затем он гордо вынимал из портфеля газету и долго её читал, хотя по-английски понимал мало - почти исключительно названия городов и собственные имена. Иногда к нему подсаживались учитель гимназии Виренко и частный поверенный Блюм. Тогда Невашеин снисходительно цедил сквозь зубы:

- Интересы империи... достоинство... великодержавность...

Получив трубку, он сразу понял, что это много убедительней и английской газеты и портера. Легкий след зуба сановника на роговом мундштуке умилил его почти до слез, и когда мелкий секретарский зубок попал во впадину, он увидел себя, Невашеина, богатым и всемогущим - послом в Сиаме или в Абиссинии. Зная по-гимназически иностранные языки, Невашеин понимал, что быть послом в Европе он никак не может. Но в Сиаме? Ведь сиамского языка уж никто не знает!

Привыкнув к трубке, он курил её часто: у Доминантова, разбирая почту или отдыхая после приема посетителей; в гостях у начальника канцелярии Штукина, к которому ходил исключительно ради его жены, Елены Игнатьевны; вечером у себя, на пролежанном турецком диване, гадая, пойти ли в пивную, где скверный портер, но зато дипломатическая слава, или послать старого слугу Афанасия в лавку за четвертью милой белоголовки и распить её безо всяких стеснений, вздыхая о титуле посла в Сиаме и о воздушном бюсте Елены Прекрасной, то есть жены Штукина.

Невашеин заботился о своей внешности, мыл голову хинной водой от преждевременного полысения, обрамлял свой кадык двумя блистающими углами высочайших воротничков фасона "Лорд Грей" по восемьдесят пять копеек штука и даже припудривал веснушчатые щеки. Во-первых, он твердо решил пойти по дипломатической части и, в ожидании высокой сиамской карьеры, занять место старшего секретаря Блохина, который, при минусе несоответствующей должности фамилии, обладал двумя плюсами: знанием языков и галантной внешностью, особым умением по-секретарски, смиренно и вместе с тем независимо, сгибаться в пояснице. Во-вторых, Невашеин,

пудря веснушки, твердо надеялся стать Парисом, то есть, не вызывая войны, которая и без того имелаась в изобилии повсюду, эмпирически познать степень и природу воздушности Елены, супруги Штукина. Поэтому и трубку Невашеин содержал в должном виде, счищая перочинным ножом нагар, вытирая дерево старым носком, оставшимся после давней стирки во вдовстве и служившим для посторонних целей. Трубка обкурилась, загорела, утратив элегантность, приобрела солидность, добротность. След зуба уже явственно обозначился. Когда сановник бранил секретаря и хвалил Блохина, когда вследствие повышения цен приходилось отказываться от фарса "Муж под душ" или от нового галстука с изумрудной искрой, когда Елена Игнатьевна, кокетничая с подпоручиком Ершовым, смеялась над кадыком и веснушками Николая Ивановича - мелкий острый зубок секретаря крепко вгрызлся в роговой мундштучок.

Однажды - был понедельник, тяжелый день, - Невашеин узнал, что к празднику наградных не будет. Одной фразой зачеркнули его ботинки, жилет, новогоднюю бонбоньерку жене Штукина и многое другое, вплоть до скромной бутылки церковного вина. Никогда не следует в понедельник начинать серьезные дела. Но Невашеин, пренебрегая этой мудростью, не рассчитывая больше на придаточную силу бонбоньерки и воспользовавшись тем, что сановник отпустил его до вечера, решил наконец приступить к решительному наступлению на сердце, точнее, на бюст Елены Игнатьевны. Как он и предполагал, Штукина дома не оказалось, и все располагало к любовной неге. Дипломатически, по-доминантовски улыбаясь, стоя на коленях, он принялся подталкивать углами воротничка "Лорд Грей" руку прекрасной Елены. Нежнейшая супруга начальника канцелярии не только не оттолкнула Невашеина, но ласково пощекотала его шею и щеки. Закрыв глаза и утопая в воздушнейшем бюсте, секретарь сладостно мурлыкал. Пробуждение было не из приятных, а именно, приоткрыв глаза, Невашеин увидел мерзкую физиономию подпоручика Ершова, искаженную едва сдерживаемым смехом, а вслед за ним беззвучно, но весьма обидно, смеялась жена Штукина. Невашеин бросился к выходу и, случайно взглянув в зеркало передней, увидел что он плумливо обезображен - на его шее, на мужественном кадыке, меж двумя углами воротничками "Лорд Грей", был нарисован

углем восклицательный знак, щеки же поверх веснушек и пудры покрыты сомнительными многоточиями.

Когда Невашеин вошел в кабинет сановника, он был раздавлен мрачными событиями дня. Из полутьмы в ответ на скрип двери раздалось только одно:

- Идиот!

Это было во второй раз за все время его службы. Но год назад он позволил себе поздравить сановника, что-то сказать, приблизиться к столу. Теперь же он был оскорблен совершенно безвинно. Потом, тогда вслед за обидой последовала трубка. Теперь Виссарион Александрович усугубил бранное слово дальнейшим:

- Убирайтесь и вызовите Блохина!

Поздно вечером Невашеин послал Афанасия за спиртом - водки давно не было. Он пил и курил трубку. Тройная горечь входила в него: сивухи, табачного дыма и злых, незабываемых обид. Как мог он - жалкий чиновник, лакей сановника, пешка - мечтать о Сиаме, о бюсте Елены, о жизни прекрасной, благоуханной, открытой для Доминантовых, для офицеров, для богатых, для красавцев, для всех, только не для того, кто в сорок четыре года остается младшим секретарем с кадьюком и веснушками? Он выпил ещё стакан и поморщился. Мерзость! Впрочем, мерзость во всем. Чья вина? Кого уничтожить? Невашеин перебрал всех мыслимых виновников - Доминантова, Ершова, бога, царя, даже Штукина, но ничто не удовлетворяло его. Неожиданно всплыли в памяти старые слова, и стало ясным, что главный преступник у него во рту, - немец, выдумавший ранги и системы, сделавший так, что нельзя щелкнуть Доминантова по носу, нельзя схватить пакостницу Елену и разложить её на паркете, ничего не нельзя - и все из-за него, из-за доктора Петерсона!..

Вынув изо рта трубку, Невашеин отчаянно завопил:

- Бей немцев!

И когда вбежал испуганный Афанасий, он запустил в него ненавистной трубкой.

Утром Афанасий подал Николаю Ивановичу трубку, счастливо миновавшую его лоб. Но секретарь дрожа от недомогания, буркнул:

- Можешь сам курить. Мне нельзя - доктора запретили... - И, при этом вспомнив что-то, уже влезая в шубу, добавил: - Хорошая

трубочка. Доктора какого-то... Фамилию забыл - немец.

Афанасий поблагодарил. Оставшись один, он прежде всего подумал - зачем ему трубка? Он никогда ничего не курил, кроме папирос "Молодец", третий сорт; их держали в соседней лавчонке. Но вещь была господская, следовательно, хорошая, и Афанасий начал курить трубку, как он носил штиблеты Невашеина, слишком узкие, и допивал в праздник спивки приторной малаги, от которой его мутило.

Что же, он быстро приспособился к трубке, так же как приспособился к манишка, к лести, к лифту и ко лжи, как сорок лет тому назад, приехав из родной деревни Чижово, приспособился к трудному Санкт-Петербургу. Трубки он не чистил, и, сначала кокетливая девица, потом благообразная дама, теперь она стала грязной бабой. Черная, она походила на грудь негритянки, и золоченое кольцо, покрывшись зеленью, больше не блестело. Но Афанасий любил её и заботливо гладил теплое дерево, по вечерам раскуривая трубку на крыльце черного хода. Его желтые лошадиные зубы ласково входили в пробитую ямочку.

Но трубке предстояло ещё много испытаний. Правда, Афанасий не мечтал ни о победах империи, ни о месте старшего секретаря, ни о прекрасном телосложении различных ветреных особ; для этого был он слишком стар и мудр. Но все же в его сердце жила тревога - страх потерять то, чем он обладал. Четыре года Афанасий спокойно прожил у Невашеина со своей женой Глашей, уходившей на день помогать поварихе заводчика Петросолова, в качестве приходящей посудомойки. Но последние месяцы Невашеин стал нервничать, беспричинно ругать Афанасия, проверять его мелкие расходы, пить, буяннить словом, всячески портить жизнь старого слуги. Афанасий по случайно оброненным словам понимал, что секретарь вымещает на нем свои обиды. Знал он также, что секретаря обижает его начальник - важный сановник. Думая вечером с трубкой на крыльце, он приходил к заключению, что и сановника, вероятно обижает царь. Но кто обижает царя, он понять не мог и, оставляя высокие раздумья, снова отдавался страху, что обиженный кем-то Невашеин прогонит его с места. А Афанасий понимал, что тогда ему конец. Куда он пойдет, старый, больной, не знающий никаких ремесел, теперь, когда на каждое свободное место приходится десять лакеев, и все ученые, с дипломами? Второй тревогой Афанасия была Глаша. Хоть Афанасий и

не знал, в чем её попрекнуть, но может ли быть спокойным муж, когда жена на двадцать лет моложе его? И трубка жалобно скрипела в зубах Афанасия.

Настал неизбежный день. Николай Иванович вернулся со службы слишком рано, не сняв пальто прошел в спальню и, кинувшись на диван, завопил:

- Афанасий! Вместо меня тестя Блохина назначили, вот как!..

Афанасий понял, что это и есть роковой час, но не зная, что ответить, только виновато улыбнулся, как будто это он уволил Невашеина ради другого, со скверной фамилией и чудесной талией. Отставленный младший секретарь, увидел улыбку слуги, пришел в ярость:

- Получай расчет и убирайся! Ты мне больше не нужен!

И в последний раз, по привычке подражая Доминантову, задрав вверх остренький подбородок, он гаркнул:

- Идиот!

Афанасий кротко поплелся к господам Петросоловым, чтобы вызвать Глашу, посоветоваться, расспросить - может, кто-нибудь из тамошней прислуги знает свободное место. Но повариха Лукерья встретила Афанасия длительным фырканием и под конец разъяснила, что Глаша изволила отбыть со своим любовником, унтером Лилеевым, в город Самарканд, просили мужу кланяться, обещали письма искать. Сказав, она снова зафыркала, а с нею вместе новая судомойка, три горничных в чепчиках, кучер, конюх, мальчик, кошки, болонки - словом, весь мир смеялся над бедным Афанасием.

Он вышел, хотя идти было некуда. Он сел на скамеечку у чужих ворот и закурил трубку. Рядом с ним молоденький маляр красил забор охрой. Афанасий позавидовал ему - поет, работает, молодой жены нет, жена только будет, а теперь он сам, если захочет, может чужую жену увести, вот, как унтер... Может в деревню уехать там тихо. В Чижове братья Афанасия - у них ни штиблет, ни малаги, ни трубки, зато на душе покой. А ему - старому слуге нет места, в большом Петербурге нет для него угла. Сорок лет чистил штиблеты, сдувал пыль, целовал руку, подбирал чаевые, и вот теперь, на скамье у чужих ворот, сидит пока не прогонят. Жена ушла. Все ушли. И впервые почувствовал Афанасий горечь лакейской судьбы, горечь старого рогатого мужа, горечь старости, одиночества, нищеты, всей человеческой жизни,

почувствовал глупо в горле, на деснах, под языком, с такой силой почувствовал, что вынул трубку и несколько раз плюнул. Потом подошел к пареньку, красившему охрой забор, протянул ему трубку.

- Бери милый! Кури на здоровье. А мне уж не годится - стар я. Да ты не бойся - она хорошая... немецкая...

Маляр - он же Федька Фарт, по паспорту Федот Ковылев - трубке удивился, честно и неподдельно, как будто с неба упала на его, Федькину, голову звезда. Бросив кисть, он сел на мостовую, стал вертеть странную вещь, понюхал мундштучок, лизнул дерево, соскреб с кольца зелень, так что оно засияло, как некогда, в счастливые доминантовские дни, - словом, с трубкой играл, как дитя, забыв, что в паспорте значилось - Федоту Ковылеву от рода двадцать два года. А наигравшись, Федька, который баловался порой козьей ножкой, набрал в кармане щепотку махорки, набил трубку, закурил и от удовольствия зажмурился.

С этого часа он больше не разлучался с трубкой. Когда он не курил, он либо жевал хлеб, либо пел. Все, что он делал, он делал хорошо. Жевал вкусно, трудолюбиво, выразительно. Пел звонким задорным голосом, забираясь высоко-высоко, словами песен пренебрегая и выводя одно "и-и-и". Ещё лучше красил. Красил все - стены и двери, церкви и лавочки, кабаки и беседки. Красил охрой, суриком, белилами, лазурью. Больше всего любил он сурик и жалел, что никто не хочет целый дом сделать густо-красным, самое большое разрешая проложить суриком тоненькую полоску. А когда он размешивая в ведерке алую краску, ему делалось беспричинно весело, как будто он выхлестал ковш вина; стоял и пел: "и-и-и", так что прохожие оборачивались веселый маляр! Как-то, проходя в Сестрорецке мимо дач, когда солнце садилось, Федька загляделся на небо - было оно поверху жидкой лазури, поверху облачных белил щедро покрыто царственным суриком, - и маляр не выдержал, выпустил лесенку из рук, заорал:

- Здорово работают!

Его молодые крысиные зубы прогрызли насквозь роговой мундштук, но трубка от этого не стала хуже. Никогда Федька не жаловался на нее. Он ведь не знал, что такое престиж или карьера, и, ничем в жизни, кроме самой жизни, не обладая, был спокоен, голый, молодой, подобный птице. Часто встречался он с разными девушками

и в ночной темноте целовал их, но когда девушка, еще вчера целовавшая его, целовала другого, Федька не грыз злобно трубку и не жаловался на её горький вкус. Вероятно, трубка мирно кончила бы свою бурную и тревожную жизнь, через год-другой прогорев, если бы не вмешалась в её скромную судьбу сумасбродка - История. Павшей на дно и на дне нашедшей успокоение, ставшей уродливым обломком, уродливым, но любимым, трубке, называвшейся когда-то "трубкой доктора Петерсона", непостижимой волей рока, который играет веками и человеческими жизнями, идеями и домашней утварью, суждено было вновь подняться на прежние высоты. Из зубов бедного маляра она опять перешла в зубы сановника, хотя курил её по-прежнему все тот же Федька Фарт, по паспорту Федот Ковылев.

Это странное на первый взгляд обстоятельство объясняется общеизвестными событиями, происшедшими в России в 1917 году.

Федька Фарт, молодой и веселый, пуще всего любивший зазорное пение и сурик, оказалось, конечно, с теми, кто хотел песнями потрясти гранитный Санкт-Петербург и суриком залить не только десяток заборов, но небо над Сестрорецком и дальше - над Индией, над Сенегалом, над двумя полюсами. Он ходил, размахивал руками, говорил бойко и громко, а когда надо было стрелять - стрелял. Как было уже сказано, все, что он делал, - он делал хорошо. Пока это относилось к жеванию хлеба, пенью или закрашиванию стен лабаза, никто способностями Федьки не интересовался. Когда же он говорил, размахивал руками и стрелял, все нашли, что он прекрасный пропагандист, одаренный организатор, и товарищ Федот - недавно последний - стал одним из первых. В горячее время митингов, демонстраций, уличных боев товарищ Федот не вынимал трубки из кармана. Там дожидалась она, как зерно в земле, своего вторичного рождения.

Когда исполнились сроки и товарищ Федот в бывшем великокняжеском дворце стал выслушивать доклады и принимать просителей, трубка вновь показалась на свет, черная, древняя, изъеденная, похожая на престарелую монахиню. Но встреча бывшего маляра с трубкой не была радостной - они как бы не узнали друг друга. Товарищ Федот больше ничего не пел, кроме гимнов на официальных церемониях, вытягиваясь при этом в струнку, хлеб жевал тихо и корректно, а вместо того чтобы заливать суриком стены,

подписывал резолюции или мандаты. Может быть, поэтому трубка показалась ему горькой и невкусной. В несколько месяцев он познал то, на что Виссарион Александрович Доминантов положил долгие годы, а именно - считать свое дело общим. Правда, он никогда не говорил об империи, но если брала верх какая-либо враждебная ему партия, фракция или группа, он, откладывая трубку, кричал о гибнущем достоинстве Российской республики.

Ко всему, товарищ Федот влюбился в идейную девушку, в товарища Ольгу, влюбился идейно, а поэтому, когда товарищ Ольга после конца заседания уходила с товарищем Сергеем, он страдал, и зубы его попадали в старое знакомое место на роговом мундштуке.

В жаркий июльский день товарищ Федот получил телефонограмму, где говорилось, что на съезде победило течение товарища Вигова. Почти одновременно ему принесли письмо от товарища Ольги, которая извещала его, что, презирая институт брака, она все же, во имя сохранения этической чистоты, находит необходимым поставить в известность работников района о том, что начиная с 12 июля она является подругой Сергея. Слова и в телефонограмме, и в письме были сухие, иностранные, звучащие, как щелканье пишущей машинки: тезисы, декларация, обструкция, позиция, информация. Но слова, спадали подобно одежде, и Федот видел: Вигов - умный, хитрый, схватил его за горло, душит, побеждает, отнимает силу, власть, возможность подписывать, приказывать, то есть жить по-настоящему, а рядом другой красивый, сильный, вырывает из его рук вождевленную девушку, целует, берет и ему, Федоту, не дает, да и не даст никогда. Впервые узнал он слабость, скуку, нехотение жить. И вновь трубка, умевшая быть столь сладкой в далекие дни, когда Федька красил забор белилами, лазурью и суриком, наполняла горечью человеческий рот. Он бросил её на стол.

Вошел секретарь товарища Федота Читкес и спросил, как быть с инструкцией. Федот раздраженно взглянул на него: наверное, Читкес доволен резолюцией съезда, наверное, у него идейная жена, отдающаяся ему, и только ему, не омрачая при этом чистоты партийной этики, наверное... И даже не додумав, чем еще грешен тщедушный, чрезмерно услужливый товарищ Читкес, Федот сухо сказал:

- Дело не в инструкции, а в том, что комиссия постановила снять вас с учета и отправить на фронт.

Читкес выронил кипу бумаг и взглянул так, как глядят при подобных обстоятельствах все люди призывного возраста - товарищи, граждане, верноподданные, в империях или республиках, русские или сомалийцы.

Но товарищ Федот, с тех пор как он стал глядеть в лицо мировой Истории, перестал интересоваться человеческими лицами и, не обращая внимания на Читкеса, и добавил:

- Можете идти, товарищ. Да, вот что, возьмите себе эту трубку - вам на фронте пригодится. Не смущайтесь, хорошая трубка.

Товарищ Читкес никогда не курил. Он не умел делать ещё очень многое, совершенно необходимое секретарю революционного сановника товарища Федота. Самое главное, что он никак не мог научиться различать многочисленные партии, фракции, группы, ненавидевшие одна другую. От сознания своего невежества Читкес дрожал крупной дрожью, и за это Федот, герой многих боев, ещё сильнее презирал своего секретаря. А так как Читкес никогда не забывал о своих недостатках, то и дрожал он всегда: когда сдавал экзамены за четыре класса, когда кондуктор спрашивал у него билет, когда проходил в былое время мимо околоточного, когда был непостижимо вовлечен в толпу, открыто разгуливавшую с красными флагами, когда получал паек, когда приоткрывал дверь кабинета товарища Федота, когда ходил, сидел и даже когда спал видел во сне экзамены, проверку документов, участки, тюрьмы, штыки, смерть.

Выйдя из кабинета начальника, Читкес прежде всего подумал, как отнестись к предмету, названному "хорошей трубкой". Может быть, надо подарить её какому-нибудь курящему солдату? Но Читкес вспомнил, что эту трубку курил товарищ Федот, к которому не допускают просителей и который вместо подписи ставил только одно многозначительное двухмордое Ф. Очевидно, трубка была знаком благонадежности, и Читкес, обменяв последнюю теплую фуфайку, немного согревавшую его зябкое тело, на пачку табака, закурил трубку. Засим секретарь, снятый с учета, побежал по всяким учреждениям хлопотать, чтоб его не отправляли на фронт, так как он болен сердцем, легкими, почками и печенью. Он не выпускал из трясущихся зубов знака своей революционной добропорядочности -

трубку, подаренную товарищем Федотом, - и так как никогда до этого дня не подносил к губам даже легкой дамской папироски, то часто забегал по дороге в глубь дворов и блевал.

Читкесу повезло, вместо фронта он попал надолжность младшего комиссара тюрьмы. Давно известно, что человек привыкает ко всему. Читкес привык к роли тюремщика и даже к трубке. Проверая утром и вечером камеры, он пытался не дрожать, но казаться величественным, как товарищ Федот, и, с трубкой в гнилых черных зубах, покрикивал на заключенных. Он полюбил трубку, и когда она, не выдержав столь ревностной службы пяти людям и двум режимам, треснула, младший комиссар тщательно обвязал её бечевкой.

Жизнь Читкеса отнюдь не была спокойной: по-прежнему он боялся всех и всего, а главным образом того, что тюрьма, будучи, как все люди, вещи и даже учреждения, смертной, перестанет существовать. Тогда его, Читкеса, пошлют на фронт, а фронт в представлении младшего комиссара являлся вездесущим и вечным.

Кроме того, товарищ Читкес изнывал страстью к делопроизводительнице Розочке Шип и только вследствие предельной дрожи, мешавшей ему издать сколько-нибудь человекоподобный звук, не мог поделиться с ней своими чувствами. Но каждый вечер, после проверки, с трубкой, придававшей ему бодрость, комиссар шел к Розочке и нес ей своей паечный сахар. Розочка весело грызла кусочки сахара и, жалея дрожавшего Читкеса, кутала его в свою вязанную кофту, чем укрепляла надежды, жившие где-то в глубине сердца младшего комиссара.

Гроза грянула нежданно - самая прозаическая гроза, - приехала инспекция и нашла непорядки. Начальник вызвал Читкеса и кратко объявил:

- Я подал заявление, чтобы вас сняли с учета.

Он ничего не сказал о фронте, но Читкес великолепно понял его. Он был уже готов снова бежать по учреждениям, доказывая болезни легких, сердца, почек и печени, но зашел перед этим в контору тюрьмы. Там лежали списки вновь привезенных арестантов. Читкес взглянул случайно и сразу увидел: "Розалия Шип". Он не выдержал и запищал:

- Как?.. Шип?..

Старший комиссар, чистивший свой револьвер, многозначительно ответил:

- Да. Шип.

И здесь Читкес понял, что теперь ему никто не сможет помочь. Он навеки неблагонадежен, и никакая трубка его не спасет.

А старший комиссар, усмехаясь, добавил:

- Любовница важного преступника.

Нет, этого Читкес не мог вынести: Розочка, его Розочка - любовница! Все смешалось - страх, ревность, отчаянье. Читкес бегал с трубкой по темному тюремному коридору, корчась и дрожа так, что приходилось обеими руками поддерживать трубку. Во рту его была такая горечь, как будто там уже разлагался крохотный Читкес, младший комиссар тюрьмы, снятый с учета, заподозренный и навеки потерявший Розочку Шип.

Читкес быстро открыл дверь камеры шестьдесят второй, где сидел высокий, худой, давно не бритый арестант, которого со дня на день должны были расстрелять, и сунул ему трубку:

- Берите. Ну, гражданин!..

И хотя дрожал он, Читкес, а не заключенный, комиссар все же нашел необходимым успокоить его:

- Вы не бойтесь... Это только трубка.

В камере шестьдесят второй находился бывший сановник империи Виссарион Александрович Доминантов. Он взял из рук комиссара вещь, мало напоминавшую трубку. Изгрызенный роговой мундштучок походил скорее на обглоданную собакой кость. Вербка еле держала расколовшееся дерево. Кольца вовсе не было. Прогоревшие края черной узорной бахромой окаймляли трубку. Безусловно, доктор Петерсон, увидавши эту скверную головешку, не признал бы в ней даже останков своего прекрасного изобретения, патентованного в различных странах.

Но есть великие и незаметные приметы сердца. Взяв в зубы трубку, арестант что-то вспомнил и улыбнулся. Через несколько дней, стерев толстый налет гари и пыли, отыскав на левом боку надпись, свидетельствующую о том, что это именно трубка "системы доктора Петерсона", он ничуть не удивился в первую же минуту он опознал свою былую подругу. Вместе с ней пришли воспоминания. Мирно и беззлобно думал Виссарион Александрович о далеких днях - об

империи и о колоратурном сопрано, о хитром враге фон Штейне и о счастливом сопернике Чермнове. Думал с нежной грустью о пятидесяти годах своей шумной, суетной, такой великолепной и такой жалкой жизни. Думал еще о том, что ему предстоит, - о смерти, думал без страха и ропота. Думая, он курил трубку, и, набитая какой-то трухой, она казалась ему необычайно сладкой. Больше не было империи, престиж которой сановник Доминантов должен был ограждать. В служебной карьере оставался лишь один непройденный этап смерть у тюремной стены. Певица Кулишова, увидев теперь эти поросшие седой мочалкой некогда холеные щеки, не соизволила бы даже уронить одну мелкую трель своего колоратурного сопрано. Уже никто не мог его обидеть, и никто не мог ему изменить. Он - арестант номер шестьдесят второй, бывшая гордость Российской империи, в конце своей жизни так же радостно курил трубку, как курил её когда-то маляр Федька Фарт, молодой и вольный, начинавший жить. Доминантов курил её до того вечера, когда все небо было в огне и золоте, как будто поверх жидкой лазури, поверх облачных белил кто-то покрыл его царственным суриком, и когда в коридоре раздался отчетливый голос:

- Номер шестьдесят второй!

Я нашел эту трубку в камере Внутренней тюрьмы, где находился осенью 1920 года. Я её никогда не курю - тщетно пытаюсь в описанный круг ввести новую жизнь. Я только гляжу на следы стольких зубов и думаю, кто же был виноват в её неизменной горечи: приказчик магазина "Шик паризьен", заглядевшийся на хорошенькую покупательницу и поэтому забывший вложить в трубку хитрые приспособления доктора Петерсона, или человеческие страсти, которые мучили непохожих друг на друга людей, бравших трубку с надеждой и откидывавших её с отчаяньем?..

Вторая трубка

(Трубка коммунара)

Есть много прекрасных городов - всех прекрасней Париж, в нем смеются беспечные женщины, под каштанами франты пьют рубиновые настойки, и тысячи огней роятся на зеркальном аспиде просторных площадей.

Каменщик Луи Ру родился в Париже. Он помнил "июньские дни" 1848 года. Ему тогда было семь лет, и он хотел есть. Как вороненок, он

молча раскрывал рот и ждал, напрасно ждал, - у его отца Жана Ру не было хлеба. У него было только ружье, а ружье нельзя было есть. Луи помнил летнее утро, когда отец чистил свое ружье, а мать плакала, вытирая лицо передником. Луи побежал вслед за отцом - он думал, что отец с вычищенным ружьем застрелит булочника и возьмет себе самый большой хлеб, больше Луи, хлеб с дом. Но отец встретился с другими людьми, у которых тоже были ружья. Они начали вместе петь и кричать: "Хлеба!"

Луи ждал, что в ответ на такие чудесные песни из окон посыпятся булки, рогалики, лепешки. Но вместо этого раздался сильный шум, и посыпались пули. Один из людей, кричавший "хлеба!", крикнул: "Больно!" - и упал. Тогда отец и другие люди стали делать непонятные вещи - они повалили две скамейки, притащили из соседнего двора бочонок, сломанный стол и даже большой курятник. Все это они положили посередине улицы, а сами легли на землю. Луи понял, что взрослые люди играют в прятки. Потом они стреляли из ружей, и в них тоже стреляли. А потом пришли другие люди. У них также были ружья, но они весело улыбались, на их шапках блестели красивые кокарды, и все называли их "гвардейцами". Эти люди взяли отца и повели его по бульвару Святого Мартына. Луи думал, что веселые гвардейцы накормят отца, и пошел за ними, хотя было уже поздно. На бульваре смеялись женщины, под каштанами франты пили рубиновые настойки, и тысячи людей роились на аспиде зеркального тротуара. Возле ворот Святого Мартына одна из беспечных женщин, сидевшая в кофейной, закричала гвардейцам:

- Зачем вы ведете его так далеко? Он может и здесь получить свою порцию...

Луи подбежал к смеявшейся женщине и молча, как вороненок, раскрыл свой рот. Один из гвардейцев взял ружье и снова выстрелил. Отец закричал и упал, а женщина смеялась. Луи подбежал к отцу, вцепился в его ноги, ещё подскакивавшие, как будто отец лежа хотел идти, и начал визжать.

Тогда женщина сказала:

- Застрелите и щенка!..

Но фронт, пивший за соседним столиком рубиновую настойку, возразил:

- Кто же тогда будет работать?

И Луи остался. За грозным июнем пришел тихий июль, больше никто не пел и не стрелял. Луи вырос и оправдал доверие доброго франта. Отец Жан Ру был каменщиком, и каменщиком стал Ру Луи. В широких бархатных штанах и синей блузе он строил дома, строил летом и зимой. Прекрасный Париж хотел стать ещё прекрасней, и Луи был там, где прокладывались новые улицы, - площадь лучистой Звезды, широкие бульвары Османа и Малерба, обсаженные каштанами, парадный проспект Оперы со строениями, ещё покрытыми лесами, куда нетерпеливые торговцы уже свозили свои диковинны - меха, кружева и ценные камни. Он строил театры и лавки, кофейни и банки, строил прекрасные дома, чтобы беспечные женщины, когда на улице дует ветер с Ла-Манша и в рабочих мансардах тело цепенеет от ноябрьских туманов, могли беспечно улыбаться, строил бары, чтобы франты не переставали в темные беззвездные ночи пить свои рубиновые настойки. Подымая тяжелые камни, он строил легчайший покров города, прекраснейшего из всех городов - Парижа.

Среди тысяч блузников был один по имени Луи Ру, в бархатных штанах, припудренных известкой, в широкой плоской шляпе, с глиняной трубкой в зубах, и, как тысячи других, он честно трудился над благолепием Второй империи.

Он строил чудесные дома, а сам днем стоял на лесах, ночью же лежал в зловонной каморке на улице Черной вдовы, в предместье Святого Антония. Каморка пахла известкой, потом, дешевым табаком, дом пах кошками и нестираным бельем, а улица Черной вдовы, как все улицы предместья Святого Антония, пахла салом жаровен, на которых торговцы жарили картошку, пресным запахом мясных, с лиловыми тушами конины, селедками, отбросами выгребных ям и дымом печурок. Но ведь не за улицу Черной вдовы, а за широкие бульвары, благоухающие ландышами, мандаринами и парфюмерными сокровищами улицы Мира, за эти бульвары и за лучистую Звезду, где днем на лесах качались блузники, прозван Париж прекраснейшим из всех городов.

Луи Ру строил кофейни и бары, он носил камни для "Кофейни регентства", излюбленной шахматными игроками, для "Английской кофейни", где встречались снобы, владельцы скаковых рысаков и знатные иностранцы, для "Таверны Мадрид", собиравшей в своих

стенах актеров двадцати различных театров, и для многих других достойных сооружений. Но никогда Луи Ру, со дня смерти своего отца, не подходил близко к уже достроенным кофейням и ни разу не пробовал рубиновых настоек. Когда он получал от подрядчика несколько маленьких белых монет, эти монеты брал старый кабатчик на улице Черной вдовы, вместо них он давал Луи несколько больших черных монет и наливал в бокал мутную жидкость. Луи залпом выпивал абсент и шел спать в свою каморку.

Когда же не было ни белых, ни темных монет, ни абсента, ни хлеба, ни работы, Луи, набрав в кармане щепотку табаку или отыскав на улице недокуренную сигарету, набивал свою глиняную трубку и с ней шагал по улицам предместья Святого Антония. Он не пел и не кричал "хлеба!", как это сделал однажды его отец Жан Ру, потому что у него не было ни ружья, чтобы стрелять, ни сына, раскрывающего рот, подобно вороненку.

Луи Ру строил дома, чтобы женщины Парижа могли беспечно смеяться, но, слыша их смех, он испуганно сторонился - так смеялась однажды женщина в кофейне на бульваре Святого Мартина, когда Жан Ру лежал на мостовой, ещё пытаясь лежать и идти. До двадцати пяти лет Луи не видал вблизи себя молодой женщины. Когда же ему исполнилось двадцать пять лет и он переехал из одной мансарды улицы Черной вдовы в другую, с ним случилось то, что случается рано или поздно со всеми людьми. В соседней мансарде жила молодая поденщица Жюльетта. Луи встретился вечером с Жюльеттой на узкой винтовой лестнице, зашел к ней, чтобы взять спички, так как его кремень стерся и не давал огня, а зайдя - вышел лишь под утро. На следующий день Жюльетта перенесла две рубашки, чашку и щетку в мансарду Луи и стала его женой, а год спустя в тесной мансарде появился новый жилец, которого записали в мэрии Полем-Марией Ру.

Так узнал Луи женщину, но в отличие от многих других, которыми справедливо гордится прекрасный Париж, Жюльетта никогда не смеялась беспечно, хотя Луи Ру её крепко любил, как может любить каменщик, подымающий тяжелые камни и строящий прекрасные дома. Вероятно, она никогда не смеялась потому, что жила на улице Черной вдовы, где только однажды беспечно смеялась старая прачка Мари, когда её везли в больницу для умалишенных. Вероятно, она не смеялась ещё потому, что у неё были только две

рубашки и Луи, у которого часто не было ни белых, ни темных монет, угрюмо бродивший с трубкой по улицам предместья Святого Антония, не мог ей дать хотя бы одну желтую монету на новое платье.

Весной 1869 года, когда Луи Ру было двадцать восемь лет, а сыну его Полю два года, Жюльетта взяла две рубашки, чашку и щетку и переехала в квартиру мясника, торговавшего конским мясом на улице Черной вдовы. Она оставила мужу Поля, так как мясник был человеком нервным и, любя молодых женщин не любил детей. Луи взял сына, покачал его, чтоб он не плакал, покачал неумело, - умел поднимать камни, но не детей, и пошел с трубкой в зубах по улицам предместья Святого Антония. Он крепко любил Жюльетту, но понимал, что она поступила правильно, - у мясника много желтых монет, он может даже переехать на другую улицу, и с ним Жюльетта начнет беспечно смеяться. Он вспомнил, что отец его Жан, уйдя в июньское утро с начищенным ружьем, сказал матери Луи, которая плакала:

- Я должен идти, а ты должна меня удерживать. Петух ищет высокого шестка, корабль открытого моря, женщина - спокойной жизни.

Вспомнив слова отца, Луи ещё раз подумал, что он был прав, удерживая Жюльетту, но и Жюльетта была права, уходя от него к богатому мяснику.

Потом Луи снова строил дома и нянчил сына. Но вскоре настала война, и злые пруссаки окружили Париж. Больше никто не хотел строить домов, и леса неоконченных построек пустовали. Ядра прусских пушек, падая, разрушили многие здания прекрасного Парижа, над которыми трудились Луи Ру и другие каменщики. У Луи не было работы, не было хлеба, а трехгодовалый Поль уже умел молча раскрывать свой рот, как вороненок. Тогда Луи дали ружье. Взяв его, он не пошел петь и кричать "хлеба!", но стал, как многие тысячи каменщиков, плотников и кузнецов, защищать прекраснейший из всех городов, Париж, от злых пруссаков. Маленького Поля приютила добрая женщина, владелица зеленой лавки, госпожа Моно. Луи Ру вместе с другими блузниками, в зимнюю стужу, босой, у форта Святого Винченсия подкатывал ядра к пушке, и пушка стреляла в злых пруссаков. Он долгие дни ничего не ел - в Париже был голод. Он отморозил себе ноги, - в зиму осады стояли невиданные холода.

Прусские ядра падали на форт Святого Винченсия, и блузников становилось все меньше, но Луи не покидал своего места возле маленькой пушки: он защищал Париж. И прекраснейший из городов стоил такой защиты. Несмотря на голод и стужу, роились огни бульваров Итальянского и Капуцинов, хватало рубиновых настоек для франтов, и не сходила беспечная улыбка с женских лиц.

Луи Ру знал, что больше нет императора и что теперь в Париже Республика. Подкатывая ядра к пушке, он не мог задуматься над тем, что такое "республика", но блузники, приходившие из Парижа, говорили, что кофейни бульваров, как прежде, полны франтами и беспечными женщинами. Луи Ру, слушая их злобное бормотание, соображал, что в Париже ничего не изменилось, что Республика находится не на улице Черной вдовы, а на широких проспектах лучистой Звезды, и что, когда каменщик отгонит пруссаков, маленький Поль будет снова открывать свой рот. Луи Ру знал это, но он не покидал своего места у пушки, и пруссаки не моли войти в город Париж.

Но в одно утро ему приказали покинуть пушку и вернуться на улицу Черной вдовы. Люди, которых звали "Республика" и которые, наверное, были франтами или беспечными женщинами, впустили злых пруссаков в прекрасный Париж. С трубкой в зубах угрюмый Луи Ру ходил по улицам предместья Святого Антония.

Пруссаки пришли и ушли, но никто не строил домов. Поль, как вороненок, раскрывал свой рот, и Луи Ру начал чистить ружье. Тогда на стенах был расклеен грозный приказ, чтобы блузники отдали свои ружья - франты и беспечные женщины, которых звали "Республика", помнили июньские дни года 48-го.

Луи Ру не хотел отдать свое ружье, а с ним вместе все блузники предместья Святого Антония и многих других предместий. Они вышли на улицы с ружьями и стреляли. Это было в теплый вечер, когда в Париже едва начиналась весна.

На следующий день Луи Ру увидел, как по улицам тянулись нарядные кареты, развалистые экипажи, фургоны и телеги. На телегах лежало всякое добро, а в каретах сидели люди, которых Луи привык видеть в кофейнях Больших бульваров или в Булонском лесу. Здесь были крохотный генералы в малиновых кепи с грозно свисающими усами, молодые женщины в широких юбках, обрамленных

кружевами, обрюзгшие аббаты в фиолетовых сутанах, старые франты, блиставшие вороньими, песочными и рыжими цилиндрами, молодые офицеры, никогда не бывшие ни у форта Святого Винценсия, ни у других фортов, важные и лысые лакеи, собачки с бантиками на гладко причесанной, шелковистой шерсти и даже крикливые попугаи. Все они спешили к Версальской заставе. И когда Луи Ру вечером пошел на площадь Оперы, он увидел опустевшие кофейни, где франты не пили больше рубиновых настоек, и заколоченные магазины, возле которых уже не смеялись беспечные женщины. Люди из кварталов Елисейских полей, Оперы и Святого Жермена, раздосадованные блузниками, не хотевшими отдать своих ружей, покинули прекрасный Париж, и аспидные зеркала тротуаров, не отражая погасших огней, грустно чернели.

Луи Ру увидел, что "Республика" уехала в каретах и в фургонах. Он спросил других блузников, кто остался вместо нее, - ему ответили: "Парижская коммуна", и Луи понял что Парижская коммуна живет где-то недалеко от улицы Черной вдовы.

Но франты и женщины, покинувшие Париж, не хотели забыть прекраснейший из всех городов. Они не хотели отдать его каменщикам, плотникам и кузнецам. Снова ядра пушек стали разрушать дома, теперь их слали не злые пруссаки, а добрые завсегдатаи кофейен "Английская" и других. И Луи понял, что ему надо вернуться на свое старое место у форта Святого Винценсия. Но владелица зеленой лавки, госпожа Моно, была не только доброй женщиной, а и доброй католичкой. Она отказалась пустить в свой дом сына одного из безбожников, убивших епископа Парижского. Тогда Луи Ру взял трубку в зубы, а своего сына Поля на плечи и пошел к форту Святого Винценсия. Он подкатывал ядра к пушке, а Поль играл пустыми гильзами. Ночью мальчик спал в доме сторожа водокачки при форте Святого Винценсия. Сторож подарил Полю новенькую глиняную трубку, точь-в-точь такую же, какую курил Луи Ру, и кусочек мыла. Теперь Поль, когда ему надоедало слушать выстрелы и глядеть на плюющуюся ядрами пушку, мог пускать мыльные пузыри. Пузыри были разных цветов голубые, розовые и лиловые. Они походили на шарики, которые покупали нарядным мальчикам в Тюильрийском саду франты и беспечные женщины. Правда, пузыри сына блузника жили одно мгновение, а шарики детей из квартала

Елисейских полей держались целый день, крепко привязанные, но и те другие были прекрасны, но и те и другие быстро умирали. Пуская из пиняной трубки мыльные пузыри, Поль забывал раскрывать свой рот и ждать кусок хлеба. Подходя к людям, которых все называли "коммунарами" и среди которых находился Луи Ру, он важно сжимал в зубах пустую трубку, подражая своему отцу. И люди, на минуту забывая о пушке, ласково говорили Полю:

- Ты настоящий коммунар.

Но у блузников было мало пушек и мало ядер, и самих блузников было мало. А люди, покинувшие Париж и жившие теперь в бывшей резиденции королей - в Версале, подвозили каждый день новых солдат - сыновей скудоумных крестьян Франции и новые пушки, подаренные им злыми пруссаками. Они все ближе и ближе подходили к валам, окружившим город Париж. Уже многие форты были в их руках, и больше никто не приходил на смену убитым пушкарям, вместе с Луи Ру защищавшим форт Святого Винченция. Каменщик теперь сам подкатывал ядра, сам заряжал пушку, сам стрелял, и ему помогали только два уцелевших блузника.

В бывшей резиденции королей Франции царило веселье. Открытые наспех дощатые кофейни не могли вместить всех желавших рубиновых настоек. Аббаты в фиолетовых сутанах служили пышные молебствия. Поглаживая грозно свисающие усы, генералы весело беседовали с наезжавшими прусскими офицерами. И лысые лакеи уже возились над господскими чемоданами, готовясь к возвращению в прекраснейший из всех городов. Великолепный парк, построенный на костях двадцати тысяч работников, день и ночь копавших землю, рубивших просеки, осушавших болота, чтобы не опоздать к сроку, назначенному Королем-Солнцем, был украшен флагами в честь победы. Днем медные трубачи надували свои щеки, каменные тритоны девяти больших и сорока малых фонтанов проливали слезы лицемерия, а ночью, когда в обескровленном Париже притушенные огни не роились на аспиде площадей, сверкали среди листвы торжествующие вензеля плошек.

Лейтенант национальной армии Франсуа д'Эмоньян привез своей невесте Габриель де Бонивэ букет из нежных лилий, свидетельствовавший о благородстве и невинности его чувств. Лилии были вставлены в золотой портбукет, украшенный сапфирами и

купленный в Версале у ювелира с улицы Мира, успевшего в первый день мятежа вывезти свои драгоценности. Букет был поднесен также в ознаменование победы - Франсуа д'Эмоньян приехал на день с парижского фронта. Он рассказал невесте, что инсургенты разбиты. Завтра его солдаты возьмут форт Святого Винценсия и вступят в Париж.

- Когда начнется сезон в Опере? - спросила Габриэль.

После этого они предались любовному щебетанью, вполне естественному между героем-женихом, прибывшим с фронта, и невестой, вышивавшей для него атласный кисет. В минуту особой нежности, сжимая рукой участника трудного похода лиф Габриэли цвета абрикоса, Франсуа сказал:

- Моя милая, ты не знаешь, до чего жестоки эти коммунары! Я в бинокль видел, как у форта Святого Винценсия маленький мальчик стреляет из пушки. И представь себе, этот крохотный Нерон уже курит трубку!..

- Но вы ведь их всех убьете, вместе с детьми, - прошептала Габриэль, и грудь её сильнее заходила под рукой участника похода.

Франсуа д'Эмоньян знал, что он говорил. На следующее утро солдаты его полка получили приказ занять форт Святого Винценсия. Луи Ру с двумя уцелевшими блузниками стрелял в солдат. Тогда Франсуа д'Эмоньян велел выкинуть белый флаг, и Луи Ру, который слышал о том, что белый флаг означает мир, перестал стрелять. Он подумал, что солдаты пожалели прекраснейший из городов и хотят наконец помириться с Парижской коммуной. Три блузника, улыбаясь и куря трубки, ждали солдат, а маленький Поль, у которого больше не было мыла, чтобы пускать пузыри, подражая отцу, держал во рту трубку и тоже улыбался. А когда солдаты подошли вплотную к форту Святого Винценсия, Франсуа д'Эмоньян велел трем из них, лучшим стрелкам горной Савойи, убить трех мятежников. Маленького коммунара он хотел взять живьем, чтобы показать своей невесте.

Горцы Савойи умели стрелять, и, войдя наконец в форт Святого Винценсия, солдаты увидели трех людей с трубками, лежавшими возле пушки. Солдаты видали много убитых людей и не удивились. Но, увидя на пушке маленького мальчика с трубкой, они растерялись и помянули - один святого Иисуса, другие - тысячу чертей.

- Ты откуда взялся, мерзкий клоп? - спросил один из савойцев.

- Я настоящий коммунар, - улыбаясь, ответил Поль Ру.

Солдаты хотели приколоть его штыками, но капрал сказал, что капитан Франсуа д'Эмоньян приказал доставить маленького коммунара в один из одиннадцати пунктов, куда сгоняли всех взятых в плен.

- Сколько он наших убил, этакий ангелочек! - ворчали солдаты подталкивая Поля прикладами. А маленький Поль, который никогда не убивал, а только пускал из трубки мыльные пузыри, не понимал отчего это люди бранят и обижают его.

Пленника-инсургента Поля Ру, которому было четыре года от роду, солдаты национальной армии повели в завоеванный Париж. Еще в северных предместьях отстреливались, погибая, блузники, а в кварталах Елисейских полей, Оперы и в новом квартале лучистой Звезды люди уже веселились. Был лучший месяц - май, цвели каштаны широких бульваров. а под ними, вокруг мраморных столиков кофеен, франты пили рубиновые настойки и женщины беспечно улыбались. Когда мимо них проводили крохотного коммунара, они кричали, чтобы им выдали его. Но капрал помнил приказ капитана и охранял Поля. Зато им отдавали других пленных - мужчин и женщин. Они плевали в них, били их изящными палочками, а утомившись, закалывали инсургентов штыком, взятым для этого у проходившего мимо солдата.

Поля Ру привели в Люксембургский сад. Там, перед дворцом, был отгорожен большой участок, куда загоняли пленных коммунаров. Поль важно ходил меж ними со своей трубкой и, желая утешить некоторых женщин, горько плакавших, говорил:

- Я умею пускать мыльные пузыри. Мой отец Луи Ру курил трубку и стрелял из пушки. Я настоящий коммунар.

Но женщины, у которых остались где-то в предместье Святого Антония дети, может быть тоже любившие пускать пузыри, слушая Поля, еще горше плакали.

Тогда Поль сел на траву и начал думать о пузырях, какие они были красивые - голубые, розовые и лиловые. А так как он не умел долго и так как путь из форта Святого Винценсия до Люксембургского сада был длинным, Поль скоро уснул, не выпуская из руки своей трубки.

Пока он спал, два рысака везли по Версальскому шоссе легкое ландо. Это Франсуа д'Эмоньян вез свою невесту Габриель де Бонивэ в прекрасный Париж. И никогда Габриель де Бонивэ не была столь прекрасна, как в этот день. Тонкий овал ее лица напоминал портреты старых флорентийских мастеров. На ней было платье лимонного цвета с кружевами, сплетенными в монастыре Малин. Крохотный зонтик охранял ее матовую кожу цвета лепестков яблони от прямых лучей майского солнца. Воистину она была прекраснейшей женщиной Парижа, и, зная это, она беспечно улыбалась.

Въехав в город, Франсуа д'Эмоньян подозвал солдата своего полка и спросил его, где помещается маленький пленник из форта Святого Винченция. Когда же влюбленные вошли в Люксембургский сад и увидели старые каштаны в цвету, плющ над фонтаном Медичи и черных дроздов, прыгавших по аллеям, сердце Габриели де Бонивэ переполнилось нежностью, и, сжимая руку жениха, она пролепетала:

- Мой милый, как прекрасно жить!..

Пленные, из числа которых каждый час кого-нибудь уводили на расстрел, встретили галуны капитана с ужасом - всякий думал, что наступил его черед. Но Франсуа д'Эмоньян не обратил на них внимания, он искал маленького коммунара. Найдя его спящим, он легким пинком его разбудил. Мальчик, проснувшись, сначала расплакался, но потом, увидев веселое лицо Габриели, непохожее на грустные лица других женщин, окружавших его, взял в рот свою трубку, улыбнулся и сказал:

- Я - настоящий коммунара.

Габриель, удовлетворенная, промолвила:

- Действительно, такой маленький!.. Я думаю, что они рождаются убийцами, надо истребить всех, даже только что родившихся...

- Теперь ты поглядела, можно его прикончить, - сказал Франсуа и подозвал солдата.

Но Габриель попросила его немножко подождать. Ей хотелось продлить усладу этого легкого и беспечного дня. Она вспомнила, что, гуляя однажды во время ярмарки в Булонском лесу, видела барак с подвешенными глиняными трубками; некоторые из быстро вертелись. Молодые люди стреляли из ружей в глиняные трубки.

Хотя Габриель де Бонивэ была из хорошего дворянского рода, она любила простонародные развлечения и, вспомнив о ярмарочной,

попросила жениха:

- Я хочу научиться стрелять. Жена боевого офицера национальной армии должна уметь держать в руках ружье. Позволь мне попытаться попасть в трубку этого маленького палача.

Франсуа д'Эмоньян никогда не отказывал ни в чем своей невесте. Он недавно подарил ей жемчужное ожерелье, стоившее тридцать тысяч франков. Мог ли он отказать ей в этом невинном развлечении? Он взял у солдата ружье и подал его невесте.

Увидев девушку с ружьем, пленные разбежались и столпились в дальнем углу отгороженного участка. Только Поль спокойно стоял с трубкой и улыбался. Габриель хотела попасть в двигающуюся трубку, и, целясь, она сказала мальчику:

- Беги же! Я буду стрелять!..

Но Поль часто видел, как люди стреляли из ружей, и поэтому продолжал спокойно стоять на месте. Тогда Габриель в нетерпении выстрелила, и так как она стреляла впервые, вполне простителен ее промах.

- Моя милая, - сказал Франсуа д'Эмоньян, - вы гораздо лучше пронзаете сердца стрелами, нежели глиняные трубки пулями. Смотрите, вы убили этого гаденыша, а трубка осталась невредимой.

Габриель де Бонивэ ничего не ответила. Глядя на небольшое красное пятнышко, она чаще задыхалась и, прижавшись крепче к Франсуа, предложила вернуться домой, чувствуя, что ей необходимы томные ласки жениха.

Поль Ру, живший на земле четыре года и больше всего на свете любивший пускать из глиняной трубки мыльные пузыри, лежал неподвижный.

Недавно я встретился в Брюсселе со старым коммунаром Пьером Лотреком. Я подружился с ним, и одинокий старик подарил мне свое единственное достояние - глиняную трубку, из которой пятьдесят лет тому назад маленький Поль Ру пускал мыльные пузыри. В майский день, когда четырехлетний инсургент был убит Габриелью де Бонивэ, Пьер Лотрек находился в загоне Люксембургского сада. Почти всех из числа бывших там версальцы расстреляли. Пьер Лотрек уцелел потому, что какие-то франты сообразили, что прекрасному Парижу, который захочет стать еще прекрасней, понадобятся каменщики, плотники и кузнецы. Пьер Лотрек был сослан на пять лет, он бежал из

Кайенны в Бельгию и через все мытарства пронес трубку, подобранную у трупа Поля Ру. Он дал ее мне и рассказал все, написанное мною.

Я часто прикасаюсь к ней сухими от злобы губами. В ней след дыхания нежного и еще невинного, может быть, след лопнувших давно мыльных пузырей. Но эта игрушка маленького Поля Ру, убитого прекраснейшей из женщин, Габриелью де Бонивэ, прекраснейшего из городов, Парижа, - говорит мне о великой ненависти. Припадая к ней, я молюсь об одном - увидев белый флаг, не опустить ружья, как это сделал бедный Луи Ру, и ради всей радости жизни не предать форта Святого Винченсия, на котором еще держатся три блузника и пускающий мыльные пузыри младенец.

Третья трубка

(Трубка старого еврея)

Когда ослу говорят, что впереди ночлег, а позади овраг, осел ревет и поворачивает назад. На то он осел. А кроме ослов, никто против истин явных и вечных возражать не станет. Когда салоникский старьевщик Иошуа попросил у меня за старую трубку из красной левантской глины с жасминовым чубуком и янтарным наконечником две лиры, - я смутился, ведь в табачной лавке такая же трубка, чистенькая, новая, без трещин, стоила всего два пиастра. Но Иошуа сказал мне:

- Конечно, лира не пиастр, но и трубка Иошуи - не новая трубка. Все, созданное для забавы глупых, старея, портится и дешевеет. Все созданное для услады мудрых, с годами растет в цене. За молодую девушку франтик платит двадцать пиастров, а старой потаскухе он не даст и чашки кофе. Но великий Маймонид в десять лет был ребенком среди других детей, а когда ему исполнилось пятьдесят лет, все ученые мужи Европы, Азии и Африки толпились в сенях его дома, ожидая, пока он выронит изо рта слово, равное полновесному червонцу. Я прошу у тебя за трубку две лиры, ибо каждый день я ее семь раз курил, кроме дня субботнего, когда не курил вовсе. И в первый раз я ее закурил после смерти моего незабвенного отца Элеазара бен Элиа, мне было тогда восемнадцать лет, а теперь мне шестьдесят восемь. Разве пятьдесят лет работы Иошуи не стоят двух лир?

Я не уподобился ослу и не стал возражать против истины. Я дал Иошуе две лиры и поблагодарил его от всей души за достойное наставление. Это так растрогало старого старьевщика, что он попросил меня зайти в дом, усадил в покойное кресло между бабушкой, давно разбитой параличом, и правнуком, восседавшем на ночном горшке, угостил сразу всей сладостью и горечью евреев, а именно - редькой в меду, и продолжил свои поучения, может быть, из природного прозелитизма, а может быть, в надежде получить и за них добрые турецкие лиры.

Я услышал много высоких абстрактных истин и мелких практических советов. Я узнал, что когда рождается кто-либо надо радоваться, ибо жизнь лучше смерти, а когда кто-либо умирает, огорчаться тоже не следует, ибо смерть лучше жизни. Я узнал также, что, купив меховую шапку, лучше всего побрызгать ее лавандовой настойкой, чтобы покойный бобер не испытывал посмертного польсения, и что, скушав много пирожков на бараньем сале, надлежит закусить их лакричником и неоднократно мягко потереть свой живот справа налево, дабы избавиться от изжоги. Я узнал еще много иного, хотя и не вошедшего ни в талмуд, ни в агаду, но необходимого каждому еврею, желающему всесторонне воспитать своих сыновей. Со временем я, вероятно, издам эти поучения салоникского старьевщика Иошуи, пока же ограничусь изложением одной истории, тесно связанной с моим приобретением, - истории о том, как и почему юный Иошуа начал курить трубку из красной левантской глины с жасминовым чубуком и янтарным наконечником. Я передам эту историю во всей ее красноречивой простоте. Мудрость древнего народа в ней сочетается с его неумемной страстностью, принесенной из знойной Ханаанской земли в степенные и умеренные страны рассеяния. Я знаю, что она покажется многим кощунственной и что, пожалуй, иные евреи станут даже оспаривать, что я действительно обрезанный еврей, несмотря на всю очевидность этого. Но в истории трубки Иошуи скрыта под грубой оболочкой благоуханная истина, а против истины, как я уже сказал, возражают лишь ослы.

Пятьдесят лет тому назад престарелый Элеазар бен Элиа заболел несварением желудка. Вероятно, за свою жизнь он съел немало пирожков на бараньем сале, и так как сыновья отцов не учат, тем паче мертвых, то и Иошуа, узнавший много позднее о целительных

свойствах лакричника, в те дни никак не мог облегчить страдания отца. Почувствовав приближение конца, Элеазар бен Элиа собрал вокруг своего ложа четырех сыновей: Иегуду, Лейбу, Ицхока и Йошуу. Кроме четырех сыновей, у Элеазара бен Элиа были еще четыре дочери, но он не призвал их, во-первых, потому, что все они были замужем, во-вторых, потому, что женщине незачем присутствовать там, где один мужчина поучает другого. А именно для мудрых наставлений собрал Элеазар своих сыновей.

Прежде всего он обратился ко всем четверем с проникновенным вступлением: "Суета сует, все суета и томление духа", но так как это было отнюдь не ново и все четверо в свое время в школе за легкое искажение приведенного текста ощущали прикосновение длани учителя к пухлым детским щечкам, то, услышав знакомые слова, они нисколько не изумились, а терпеливо стали ждать дальнейшего. Отец попытался подкрепить мысль Экклезиаста опытом своей долгой и тягостной жизни. За семьдесят пять лет он познал суетность всех желаний и заклинал сыновей отгонять от себя всяческие вожеления. Жизнь по его словам, была подобна бабочке: прекрасная издали, пойманная, она линяет и марает пальцы человека своей жалкой пыльцой. Мечтать о чем-либо - значить обладать многим, получить что-либо - значит тотчас все потерять. Но и эти глубокие истины показались сыновьям похожими на нечто, много раз слышанное между библейской дланью учителя и освежающими розгами, поэтому они почтительно попросили отца перейти к сути дела. Тогда Элеазар бен Элиа подозвал к себе старшего сына Иегуду.

- Когда я был молод, как ты, я вздыхал о любви. В синагоге, вместо того чтобы честно молиться, я задираю голову вверх и глядел на женщин, напоминавших ласточек, щебечущих под крышей дома. Однажды, проходя мимо турецкой бани, я услышал звук поцелуя и нашел его более прекрасным, нежели напев молитв утренних или вечерних.

Будучи скромным и бедным евреем, сыном мудрого меховщика Элии, я не мог пойти в кофейные или в бани, где греки и турки получали за несколько пиастров для глаз - оперенье заморских ласточек, для уха - серебряный звон поцелуев, для носа - дыханье розового масла и черных, нагретых солнцем волос, для пальцев - прикосновение кожи, более мягкой, нежели смирнские ковры, для

языка - слюну, которая слаще критского вина. Все это было не для меня. Но господь снизошел к бедному Элеазару, и, потомившись в сладчайшем ожидании три года, я нашел наконец дочь Боруха, портного из Андрианополя Ребекку, твою мать. Правда, с виду она походила на лысеющую ворону, кожа ее была жестче быльжной мостовой салоницких набережных, ее поцелуи грохотали, как удары палкой по жестяной кастрюле, запах, исходивший от нее, состоял из пота, горчичного масла и камбалы, а слюна ее напоминала рыбью желчь. Но Ребекка была честной еврейской девушкой, не погнушавшейся выйти замуж за бедного Элеазара. Сын мой, я не допущу плохого слова о твоей покойной матери, да будет земля ей легче верблюжьего пуха! Но, умирая, скажу тебе: я знал любовь до того часа, когда познал наконец, что такое любовь. Я оставляю тебе наследство - оловянное кольцо, которое я некогда надел на грязный палец Ребекки, - носи его. На твоей руке оно будет счастливой любовной сетью, на женской - станет для тебя каторжной цепью.

- Отец, - возразил Иегуда, - твоя жизнь лучше твоих поучений. Если бы ты только мечтал о турецких банях или о греческих кофейнях, ни я, ни мои братья не увидели бы света.

Сказав это, он взял оловянное кольцо и вышел.

По словам Йошуи, подарок отца и его наставления помогли Иегуде счастливо прожить свой век: он стал немедленно и с редким усердием искать себе невесту, встретился вскоре с красивой и к тому же богатой дочерью купца Ханой и, умиленный, надел на ее розовый пальчик скромное отцовское кольцо.

Далее Элеазар бен Элия стал поучать второго сына, Лейбу:

- Увидав, что любовь только сон, я обратился к веселью. Я завидовал всем, кто смеялся, пел и плясал. Я смотрел издали на танцы греческих свадеб, прислушивался к песням арабов, бродил по базарам и, встречая ватагу пьяных забулдыг, восторженно ухмылялся. Мне не было весело - очень трудно, чтобы бедному еврею, у которого к тому же жена и дети, было весело, но я верил, что, если сильно захотеть, можно развеселиться. Я начал тихонько от твоей матери Ребекки прыгать, закидывать вверх ноги и мотать головой, как это делали ловкие греки. Я даже достиг искусства, подражая одной турчанке, которая плясала на базаре, двигать своим тощим вислым животом так, чтобы тело при этом оставалось неподвижным. Закончив танцы, я

приступил к песням, - я изучил щебет греков, плач турок, любовные вздохи арабов и даже странные звуки, напоминавшие икоту приезжих австрийцев. Постигнув все тайны веселья, я продал свои последние штаны, купил на них бутылку вина и, выпив ее до дна, принялся веселиться, то есть танцевать, петь и смеяться. Но веселье вблизи оказалось очень скучным. Сын мой, заклинаю тебя, удовлетворишься тем, что другие веселятся, сам же ходи всегда с опущенной вниз головой - и ты будешь счастлив. Я оставляю тебе в наследство пустую бутылку. Когда жажда веселья овладеет тобой, подыми ее высоко и долго гляди на пустое доньшко.

Это поученье, казалось, должно было упасть на благодатную почву, ибо Лейба с рождения отличался редкой угрюмостью. Когда во время радостного праздника симхасторе он приходил в синагогу, дряхлые, выжившие из ума праведники, глядя на его унылое, постное лицо, думали, что они перепутали дни календаря, и начинали петь молитвы, приуроченные ко дню разрушения храма. Выслушав слова отца, Лейба все же заинтересовался неизвестными ему дотоле вокальными и хореографическими способностями Элезара бен Элии.

- Отец, покажи мне, как ты веселился, и я навеки познаю тщету этого познания.

Элезар горячо любил своих детей, и, несмотря на семьдесят пять лет, а также на несварение желудка, он привстал с ложа и принялся подпрыгивать, выставляя морщинистый живот, бегать рысью, скакать галопом, икать, как сто австрийцев вместе, и чирикать, как маленькая канарейка. Труды его не пропали даром - Лейба, до этого дня никогда не улыбавшийся, громко расхохотался, он даже не смог ничего ответить отцу, гогоча и дрыгая добродетельными худыми ножками. Наконец, схватив пустую бутылку, он выбежал прочь.

Жизнь его также сложилась хорошо под светлым впечатлением отцовских заветов. Став самым веселым человеком Салоник, он открыл балаган на главном базаре и неплохо зарабатывал. Никто не умел лучше его ворочать животом, издавать низкие утробные звуки, исполнять на пустой бутылке похоронные арии, так что жирные греки со смеху катались по полу, подобные розовым небесным мячам.

Несколько смущенный сильным впечатлением, произведенным на Лейбу его мудростью, Элезар бен Элия сказал третьему сыну, Ицхоку:

- Познав тщету веселья, я раскрыл книги и перешел к наукам. Но бедный еврей - я должен был довольствоваться тремя книгами: молитвенником, арабским толкователем снов и руководством к взысканию процентов. Я прочел их с начала до конца так, как читают евреи, потом еще раз с конца до начала, согласно обычаю христиан, и, увы, я все понял. А знание лишь тогда заманчиво, когда кажется непостижимым. Я узнал, что, если бы я действительно был праведным и не занимался вращением своего живота, бог наградил бы меня, Элеазара, и весь мой род до двадцатого колена включительно тучными пастбищами, также, что, если бы мне приснились когда-нибудь белые мыши, я получил бы наследство от богатого тестя, хотя никакого тестя, даже бедного, у меня давно нет, наконец, что, если бы кто-нибудь был мне должен один пиастр, я смог бы по всем правилам подсчитать, сколько процентов приросло на этот пиастр. Все это наполнило меня скукой. Я уже готов был презреть науку, как презрел раньше любовь и веселье. Но новые соблазны открылись передо мной. Мать твоя, Ребекка, ненавидела мои книги и раз, воспользовавшись тем, что я, подсчитывая проценты, задремал, обратила все три тома на растопку жаровни. Она пощадила только кожаные переплеты, которые казались ей вещами безвредными и даже имеющими ценность. Плача над гибелью книг, хотя и разоблаченных мною в их лжемудрости, я сжимал переплеты, подобно одеждам дорогого покойника. Вдруг я заметил, что к коже, облачавшей молитвенник, приклеен листок с письменами на неизвестном мне языке. Я сразу догадался, что именно здесь таится непостижимое знание. Я отнес листок к мудрому Абраму бен Израель, и он сказал мне, что эти слова написаны на голландском языке, ему неизвестном. Сын мой, второй раз в жизни я продал самую необходимую вещь - штаны и купил учебник голландского языка. По ночам, когда Ребекка спала, я изучал тысячи труднейших слов, у которых, как у диковинных цветов, были труднейшие корни. Прошло три года, пока наконец я смог разобрать, что было написано на листочке, приклеенном к коже, облачавшей когда-то молитвенник. Это были советы, как лучше всего шлифовать крупные алмазы. Но никогда я не видел никакого, даже самого мелкого алмаза. Правда, на берегу моря я находил порой блестящие камешки, но они не поддавались никакой шлифовке. Я оставляю тебе этот листок как явное свидетельство тщеты знания. Удовлетворяйся приятным

сознанием, что на свете много непонятных языков и непрочитанных книг. Пусть другие учатся, портят глаза и жгут зря масло.

Ицхок поблагодарил отца за листок бумаги с переводом, тщательно приписанные к нему рукой Элезара бен Элии, и сказал:

- По-моему, ты не напрасно изучал голландский язык. Масло все равно бы сгорело, и твои глаза все равно бы испортились, потому что маслу подобает сгорать, а глаза с годами портиться. По крайней мере ты меня научил, как надо шлифовать крупные алмазы. Кто знает, может быть, я найду другой листок, где будет сказано, как разыскивать эти камни, и стану самым богатым купцом Салоник.

Иошуа рассказал мне, что Ицхок действительно разбогател. Правда, он не нашел трактата о том, как находить крупные алмазы, но, очевидно, другие прочитанные им фолианты дополнили наследство отца, так как он открыл мастерскую фальшивых бриллиантов. Дела его идут блестяще, и совесть его чиста, ибо если в талмуде и осуждаются фальшивомонетки, то там ничего не сказано о тех, кто честно изготавливает фальшивые камни.

Отправив трех старших сыновей, довольных назиданиями и наследством, Элезар бен Элия остался вдвоем с младшим сыном Иошуей, который тогда был глупым юношей без определенных занятий, а теперь считается самым уважаемым старьевщиком Салоник.

- Младший и любимый сын, - проникновенно начал Элезар, - когда ты родился, я был уже стар и мудр. Я больше не предавался ни наукам, ни веселью, ни любви. Я даже не понимаю толком, кстати будь сказано, несмотря на свою мудрость, как это случилось, что ты родился. Я долго думал о том, чем мне теперь заняться и чем заменить шершавые бедра твоей матери Ребекки, пустую бутылку и сгоревшие на жаровне книги. Размышляя, я выходил вечером на улицу и видел, как на порогах домов турки, греки, евреи курят длинные трубки с чашечками, подобными раскрывшимся цветкам тюльпана. Я уже заметил прежде, что люди предающиеся любви, веселью и наукам, быстро устают от своих занятий. Турок, подбирая шаровары, спешит уйти от десяти самых прекрасных жен. Грек, выпив критского вина, пропев и проплясав, ложится на мостовую и начинает корчиться от усталости, а порой и от тошноты. Самый мудрый еврей засыпает над талмудом. Очевидно, трубка была выше прочих услад, ибо никто

не уставал подносить ее к вечно жаждущему рту. Дойдя до этого, сын мой, в третий и последний раз я продал штаны, незадолго перед этим сделанные Ребеккой из ее свадебного платья. На вырученные два пиастра я купил себе хорошую трубку из левантской глины, с жасминовым чубуком и янтарным наконечником. Но когда я принес ее домой и, распечатав пачку смирского табаку, готов был поднести уголек к тюльпановым лепесткам, голос мудрости остановил меня.

"Элезар, - сказал я себе, - неужели ты напрасно ласкал Ребекку, вертел животом и изучал голландские корни? Зажженная трубка окажется хуже никогда не изведанной. Глупец, не дай твоему счастью уйти вместе с дымом!"

С этого дня каждый вечер я вынимал из-под кровати тщательно хранимую от ревнивых взоров Ребекки заветную трубку и благоговейно касался губами золотого янтаря. Он напоминал мне солнце и кончики грудей прекрасных женщин в турецких банях, которых никогда не сможет увидеть наяву бедный еврей. Я вдыхал запах жасминового дерева, и ствол как бы зацветал белыми хлопьями. На нем пели соловьи лучше, чем самые искусные греки. Красная глина мне напоминала о священной земле, где покоятся кости патриархов и пророков, со всей мудростью, которая больше книг еврейских и даже голландских. Так, не куря, я был со своей трубкой счастливее всех турок, греков и евреев, на порогах домов испепеляющих свое счастье. Сын мой, я оставляю тебе эту трубку, и я молю тебя - не вздумай огнем осквернять ее холодное девичье тело!..

Велико было негодование молодого Йошуи, услышавшего эти речи.

- Отец, если бы ты не плевал в трубку, подобно евнуху, а курил бы ее толком, обкуренная, она стоила бы теперь по меньшей мере десять пиастров.

Йошуа был нрава буйного и горячего. Возмущенный потерей восьми пиастров, а пуще этого глупостью отца, прикидывающегося мудрым, он схватил трубку и чашечкой ее, подобной раскрытому цветку тюльпана, ударил по лбу Элезара бен Элиа. Вопреки общепринятому мнению о том, что левантская глина отличается хрупкостью, трубка осталась целой, хотя лоб мудрого Элезара бен Элии славился в Салониках своей крепостью, достойной мрамора. Зато Элезар вскоре после этого закрыл навеки глаза, испорченные

чтением голландских трактатов. Конечно, Иошуа и его благородное негодование тут ни при чем. Как явствует из предшествующего, старик был готов умереть от несварения желудка и, закончив наставления ввиду отсутствия пятого сына, привел свои намерения в исполнение.

Иошуа, не задумываясь в ту минуту над юридическим или медицинским объяснением непосредственных причин смерти Элезара бен Элии, побежал в кухню, достал из жаровни уголек и быстро закурил унаследованную трубку. С тех пор в течении пятидесяти лет он не расставался с нею. Будучи человеком богомольным и праведным, он впоследствии заинтересовался своим поступком, предшествующим кончине отца, и, подумав, нашел его угодным богу. За почитание родителей полагается долголетье, но так как Иошуе исполнилось уже шестьдесят восемь лет и он обладал еще отменным здоровьем, то ясно, что никакого непочитания с его стороны не было. С другой стороны, сам Элезар перед смертью намекнул Иошуе, что причины рождения сына неясны так же, как оказались впоследствии неясны причины смерти отца. Наконец, заповеди, подобно всем законам, даны для повседневного употребления, а не для таких исключительных случаев, как унаследование сыном необкуренной трубки лжемудрого отца. Итак, Иошуа курил свою трубку до шестидесяти восьми лет и продал ее лишь потому, что, надеялся прожить еще по меньшей мере тридцать лет, решил обкурить вторую трубку, удовлетворенный первой, давшей почти две лиры чистой прибыли.

Я бережно храню трубку Иошуи, часто закуриваю ее вечером, лежа на диване, но никогда не могу докурить до конца. Это объясняется не ее вместительностью, а исключительно высокодуховными переживаниями. Каждый раз, когда я касаюсь губами янтарного наконечника, я вспоминаю жалкую жизнь Элезара бен Элии, увенчанную слишком поздним уроком Иошуи. Я принимаюсь сожалеть не о том, что было в моей жизни, а о многом, что только могло быть и чего не было. Перед моими глазами начинают рябить карты неизвестных мне стран, разномастные глаза не целовавших меня женщин, пестрые обложки не написанных мною книг. Я кидаюсь к столу или двери. А так как нельзя ни путешествовать, ни целоваться, ни писать рассказы с огромной

трубкой, напоминающей раскрытый цветок тюльпана, то она остается одна, едва согретая первым дыханием. А посмотрев новый город, где люди, как всюду, плодятся и умирают, поцеловав еще одну женщину, которая как все, сначала читает стихи, а потом, похрапывая, спит написав рассказ в полпечатного листа, похожий на тысячи других рассказов, - о любви или о смерти, о мудрости или о глупости, я возвращаюсь на тот же протертый диван и с сожаленьем спрашиваю себя, почему я не докурил моей трубки?

Так за две турецких лиры я приобрел вещь, которая в зубах другого явилась бы источником блаженства, а в моих напоминает Танталову чашу, пенящуюся рядом и трижды недоступную.

#### Четвертая трубка (Солдатская трубка)

Тишайший луч несется тысячи лет, но короток век человека: детство с играми, любовь и труд, болезни, смерть. Есть телескопы и таблицы, есть разум и глаза, но как построить такие весы, чтобы взвесить короткую жизнь: на одну чашу положить тишайший луч, вереницы чисел, пространство, миры, а на другую прозябание зерна, которое всходит, колосится и отсыхает? Кто знает, может быть, сорок ничтожных лет перетянут?..

Была война. Когда-нибудь подберут эпитет "великая" или "малая", чтобы сразу отличить ее от других войн, бывших и будущих. Для людей, живших в тот год, была просто - война, как просто - чума, как просто - смерть.

Была война, и на крохотной точке - точке среди точек - близ груды камней, называвшихся прежде городом Ипром, лежали, сидели, ели и умирали чужие, пришлые люди. Их называли 118-м линейным полком французской армии. Полк этот, сформированный на юге, в Провансе, состоял из крестьян виноделов или пастухов. В течении шести месяцев курчавые темные люди ели и спали в глинистых ямах, стреляли, умирали, вскинув руки, один за другим, и в штабе корпуса значилось, что 118-й линейный полк защищает позиции при "Черной переправе".

Напротив, в пятистах шагах, сидели другие люди и тоже стреляли. Среди них было мало курчавых и черных. Белесые и светлоглазые, они казались крупнее, грубее виноделов, и говорили они

на непохожем языке. Это были земледельцы Померании, их называли в другом штабе 87-м запасным батальоном германской армии.

Это были враги, а между врагами находилась земля, о которой и виноделы и хлебопашцы говорили "ничья". Она не принадлежала ни Германской империи, ни Французской республике, ни Бельгийскому королевству. Развороченная снарядами, изъеденная вдоль и поперек брошенными окопами, круто начиненная костями людей и ржавым металлом, она была землей мертвой и ничьей. Ни одной былинки не уцелело на ее паршивой коже, и в июльский полдень она тяжело пахла калом и кровью. Но никогда ни за благословенный сад с тучными плодами и с цветами теплиц люди так не боролись, как за этот вожделенный гнилой пустырь. Каждый день кто-нибудь выползал из земель французской или немецкой на землю, называвшуюся "ничьей", и замешивал желтую глину вязкой горячей кровью.

Одни говорили, что Франция сражается за свободу, другие, что она хочет похитить уголь и железо. Но солдат 118-го линейного полка Пьер Дюбуа воевал только потому, что была война. А до войны был виноград. Когда падали слишком часто дожди или на лозы нападала филлоксера, Пьер хмурился и стегал сухой веткой собаку, чтобы она его не объедала. А в хороший год, продав выгодно виноград, он надевал крахмальную манишку и ехал в ближний городок. Там, в кабачке "Свиданье принцев", он веселился вовсю, то есть хлопал служанку по широкой гулкой спине и, бросив в заводную шарманку два су, слушал, приоткрыв рот, покурри. Один раз Пьер болел, у него сделался нарыв в ухе, и это было очень больно. Когда он был маленьким, он любил ездить верхом на козе и красть у матери сушеный инжир. У Пьера была жена Жанна, и он часто любовно сжимал ее груди, крутые и смуглые, как гроздь винограда в солнечный хороший год. Такова была жизнь Пьера Дюбуа. А потом Франция начала сражаться за свободу или добывать уголь, и он стал солдатом 118-го линейного полка.

В пятистах шагах от Пьера Дюбуа сидел Петер Дебау, и жизнь его была непохожей на жизнь Пьера, как непохожа картошка на виноград или север на юг, и она была бесконечно похожей, как похожи друг на друга все плоды земли, все страны и все жизни. Петер ни разу не ел винограда, он только видел его в окнах магазинов. Музыка он не любил, а по праздникам играл в кегли. Он хмурился когда солнце

пекло и не было дождей, потому что тогда травы желтели и коровы Петера давали мало молока. У него никогда не болело ухо. Однажды он простудился и с неделю лежал в сильном жару. Мальчиком Петер играл со старой отцовской таксой и картузом ловил солнечных зайчиков. Его жена, Иоганна, была бела, как молоко, рыхла, как варенный картофель, и Петеру это нравилось. Так жил Петер. Потом - одни говорили, что Германия сражается за свободу, другие, что она хочет похитить железо и уголь, Петер Дебау стал солдатом 87-го запасного батальона.

На ничьей земле не было ни свободы, ни угля - только труха костей и ржавая проволока, но люди хотели во что бы то ни стало овладеть ничьей землей. Об этом подумали в штабах и упомянули в бумагах. 24 апреля 1916 года лейтенант призвал к себе солдата Пьера Дюбуа и отдал приказ в два часа пополудни проползти по брошенному окопу, прозванному "Кошачьим коридором", вплоть до германских позиций и подглядеть, где расположены неприятельские посты.

Пьеру Дюбуа было двадцать восемь лет. Это, конечно, очень мало тишайший луч несетя сотни веков. Но Пьер, услышав приказ, подумал, что были филлоксера, губившая виноград, и болезни, губившие человека, а стала война, человеку надо считать не годы, а часы. До двух пополудни оставалось еще три часа и пятнадцать минут. Он успел пришить пуговицу, написать Жанне, чтобы она не забыла посыпать серой молодые лозы, и, громко прихлебывая, грея руки над кружкой, выпить черный кислый кофе.

В два часа пополудни Пьер пополз по скользкой глине завоевывать ничью землю. Он долго пробирался окопом, прозванным "Кошачьим коридором", натываясь на кости и колючую проволоку. Потом коридор кончился. Направо и налево шли такие же брошенные окопы, сиротливые, как брошенные дома. Раздумывая, какой выбрать: правый или левый - оба вели к врагам, то есть к смерти, - Пьер решил передохнуть и, пользуясь укромностью места, закурил бедную солдатскую трубку, испачканную глиной. Было очень тихо - люди обыкновенно громко стреляли днем, а ночью они убивали друг друга без шума, посылая одиноких людей, ползущих змеей, как Пьер, или роя подкопы. Пьер курил трубку и глядел на густое звездное небо. Он не мерил и не гадал, не сравнивал миров со своей дереушкой в

Провансе. Он только подумал: если там на юге такая же ночь - винограду хорошо и Жанне тоже, Жанна любит теплые ночи. Он лежал и курил, всей теплотой своего волосатого звериного тела радуясь тому, что здесь, на мертвой, ничьей земле, он еще жив, дышит и курит, может шевельнуть рукой или ногой.

Но Пьер не успел раскурить хорошенько трубку, как из-за угла показался человек. Кто-то полз ему навстречу. Пьер видел лицо - светлое и широкое, непохожее на лица виноделов или пастухов Прованса, чужое лицо, чужой шлем, чужие пуговицы. Это был Петер Дебау, но для Пьера он был просто врагом, как просто - война или просто смерть. Он не знал, что вечером германский лейтенант вызвал вызвал к себе солдата Петера и отдал приказ, что Петер тоже чинил свою шинель, писал Иоганне, чтобы она не забывала стельных коров, и, чавкая, хлебал похлебку. Пьер не знал об этом, а если б и знал, все равно не понял - ведь в тот год была война. Для Пьера Петер был просто врагом, а встретив врага, приползшего навстречу, Пьер, как древний пращур в лесах, как волк, изогнулся, напрягся, готовясь вцепится в добычу. И рядом Петер, увидев врага так близко, что он слышал, как бьется чужое сердце, как пращур, как волк, выпростал руки, подобрал ноги, размеряя лучше прыжок.

Они лежали друг против друга. Каждый ждал и не хотел начинать. Руки обоих были на виду, и, не глядя на лица, оба зорко следили за вражескими руками.

А трубка Пьера курилась. Враги лежали рядом, не желая убивать, но твердо зная, что убить необходимо, лежали мирно и громко дышали друг другу в лицо. Они, как звери, принюхивались к чужой шерсти. Запах был родной и знакомый, запах солдата, промокшей шинели, пота скверного супа, глины.

Пришедшие из дальних земель, из Прованса, из Померании, на эту землю, ничью и чужую, они знали: враг - удушить. Они не пытались разговаривать: много чужих земель и чужих языков. Но они мирно лежали рядом, и трубка Пьера курилась, и Петер, который не мог закурить своей, зная, что малейшее движение рукой - борьба и смерть, вдохнув жадно табачный дым, раскрыл рот. Он этим просил, и Пьер его понял, и еще ближе выпятил свою голову. Петер взял трубку зубами из зубов. А глаза обоих по-прежнему не отпускали выпростанных, как бы безжизненных рук. Затянувшись, Петер

возвратил трубку Пьеру, и тот, в свою очередь, уж не дожидаясь просьбы, после затяжки предложил ее врагу. Так они сделали несколько раз, сладко куря солдатскую трубку, два врага на ничьей земле, которую надо было во что бы то ни стало завоевать. Они затягивались осторожно, медленно, очень, очень медленно. Тишайший луч мчится тысячи лет, а они знали, что для одного из них это последняя трубка. Случилось несчастье - трубка, не додымив до конца, погасла. Кто-то из двух задумался и вовремя не продлил пропеченным вздохом ее короткой жизни. Был ли это Пьер, вспомнивший смуглую Жанну, или Петер, прощавшийся с белесой Иоганной? Кто-то из двух... Они знали, что достать зажигалку нельзя, что малейшее движение рукой - борьба и смерть. Но кто-то первый решился. Пьер ли, защищавший Французскую республику и в зажиме кармане хранивший кремень с длинным шнуром, или Петер, у которого были спички и который сражался за Германскую империю? Кто-то из двух...

Они сцепились и начали душить друг друга. Трубка выпала и завязла в глине. Они душили и били один другого, душили долго, молча, катаясь по земле, обрастая комьями глины. Потом, так как никто не мог одолеть, они зубами вцепились в жесткие лохматые щеки, в жилистые шеи, издававшие родной и знакомый запах, замешивая желтую глину вязкой, горячей кровью. И снова затихли, снова мирно лежали рядом, только без трубки, мертвые, на мертвой и ничьей земле.

Вскоре перестали быть зримыми тишайшие лучи, идущие от звезд к земле; рассвело, и, как каждый день, люди, убивавшие ночью молча, ползая по глине и роя подкопы, увидев солнце, начали убивать громко, стреляя из ружей и пушек. В двух штабах занесли в списки пропавших без вести имена столь различные и сходные двух солдат, а когда снова пришла ночь, поползли на землю, назвавшемуся ничьей, новые люди, чтобы сделать то, чего не сделали ни Пьер, ни Петер, ведь в тот год была война.

В деревушке Прованса смуглая Жанна, посыпая серой виноград, плакала над Пьером, а поплакав, пустила в свой дом другого мужа - Поля, потому что кто-нибудь должен был надрезать лозы и сжимать ее груди, крутые, как гроздь в урожайный год. И очень далеко от нее, но все же ближе, чем звезда от звезды, в деревушке Померании плакала

белесая Иоганна, подсыпая корм стельным коровам, и так как коровы требовали много забот, а ее тело, белое, как молоко, не могло жить без ласки, на ферме появился новый муж, по имени Пауль. Узнав, что мужчины выкурили свою последнюю трубку, две женщины горевали, а потом снова радовались с другими мужьями, ведь в тот год, как и в другие годы, была жизнь. В апреле 1916 года ничья земля, пахнувшая калом и кровью, перестала быть ничьей. В теплый ясный день на ней умерло очень много людей из разных земель, и желтая глина, замешанная кровью, сделалась чьей-то собственной, законной землей. Впервые по окопу, носившему название "Кошачьего коридора", люди, прежде ползавшие на животе, пошли спокойно, не сгибая даже голов. На повороте, там, где кончался "Кошачий коридор" и ветвились направо и налево другие окопы, не имевшие прозвищ, они увидели два скелета, обнимавшие друг друга, как счастливые любовники, застигнутые смертью. Рядом с ними валялась маленькая трубка.

Вот она передо мной, бедная солдатская трубка, замаранная глиной и кровью, трубка, ставшая на войне "трубкой мира"! В ней еще сереет немного пепла - след двух жизней, сгоревших быстрее, чем сгорает щепотка табаку, жизней ничтожных и прекрасных. Как построить такие весы, чтобы взвесить прозябанье людского зерна, чтоб кинуть на одну чашу тысячи тысяч лет, а на другую столько, сколько может дымиться маленькая солдатская трубка?..

#### Пятая трубка

Напрасно думают, что обкурить трубку так же легко, как обжить новый дом. Последнее доступно всем, за исключением разве ревматиков. Трубку же обкурить могут лишь немногие. Никакие печатные трактаты, никакие мудрые наставления табачного торговца не заменят отсутствующих способностей. Когда младенец в люльке играет с побрякушкой - его участь предрешена. Если он беспричинно кричит и смеется, бьет в ладоши, ловит муху, вываливается из колыбели - словом, если он представляет из себя клубок человеческих страстей, лучше всего его заранее оградить от соблазна стать курильщиком трубки и поднести ему по окончании колледжа дамский портсигар с крохотными надушенными сигаретами. Берущий в зубы трубку должен обладать редчайшими добродетелями: бесстрашием полководца, молчаливостью дипломата и невозмутимостью шулера.

Не удивительно, что только в одном месте нашей чересчур стремительной планеты можно увидеть хорошо обкуренные трубки; это, разумеется, остров, именуемый Великобританией, отделенный от прочих земель водой и мудростью, остров, на котором в непогрешимом уединении пребывают миллионы бриттов, подобных каждый такому же острову, с должным количеством паромных рейсов.

Среди моих трубок одна поражает чернью дерева и тончайшим, неуловимым запахом. Она не только сделана в Англии из крепкого, но пористого корня вереска, но и обкурена истинным англичанином. Я бы осмелился даже утверждать, что моя трубка "Е.Х. 4" является уникалом, достойном украшать выставку трубок, устраиваемую ежегодно в клубе курильщиков Эдинбурга, если бы не печальный инцидент, лишивший ее многих достоинств, но зато способствовавший тому, что она вместо замшевого футляра лорда Грайтона очутилась в кармане скромного русского поэта.

Лорд Грайтон был первым курильщиком Англии вследствие исключительной равномерности своего дыхания. Никогда за все пятьдесят два года своей благородной жизни он не испытывал ни гнева, ни восторга, которые могли бы печально отразиться на его горячо любимых трубках. Дыхание людей, подверженных страстям, неровно и подобно порывам ветра. Лорд Эдуард Грайтон размеренно вдыхал дым. Другие, куря, увлекались беседой о дерби, хорошенькой мисс, прошедшей мимо, и трубка гасла; или, наоборот, раздосадованные неудачей английской политики в Индии, болтливостью жены, произнесшей после обеда десять совершенно излишних слов, пресностью пикулевого соуса, вдували в трубку неистовый ураган своих крепких легких, и трубка, не обкуриваясь, сгорала. Но лорд Эдуард Грайтон, умел ограждать себя от всяких простонародных чувств. Когда его младшего брата Бернарда, капитана королевской армии, где-то в полях Пикардии разорвал германский снаряд, лорд Эдуард Грайтон не выпустил из зубов трубки, хотя он больше всех живых существ любил брата Бернарда. Спокойно он прочитывал телеграммы, подносимые лакеем на тяжелых подносах, о смерти, свадьбах, рождениях родных и друзей, донесения управляющих о процветании и запустении своих поместий, газеты, эти многостраничные фолианты, что ни день сообщавшие о кознях

ирландцев, египтян, индусов, русских, немцев, даже бушменов, жаждущих гибели прекрасного острова. Проходили буквы, слова, мысли, события, умирали тетки, рождались кузены, текли гиней, развивались колонии, гибли империи, а трубка, святая кадилница, все так же плавно источала сладкий медовый дым господе всех спокойных джентльменов, господе старой Англии.

Возможно, что эти исключительные моральные достоинства лорда Эдуарда Грайтона объяснялись некоторыми физическими недочетами его организма. Следует открыть, отнюдь не из любви к интимной жизни английских аристократов, а исключительно для понимания романтической истории моей трубки "Е.Х.4", что лорд Эдуард Грайтон, красивый и статный мужчина, непостижимой игрой природы был обречен на вечное девство. осознав это в возрасте восемнадцати лет, он испытал некоторую меланхолию, но вскоре выкурил первую трубку, утешился и нашел себя.

Когда лорду Эдуарду Грайтону исполнилось пятьдесят лет, он почувствовал себя в зените бытия, окончательно возмужалым и полным сил. Поэтому он решил жениться. Месяц спустя прекрасная леди Мери, бледная и худая, начала разделять досуги лорда, который размышлял о гармонии природы, завернутый в шотландский плед, на умеренном сентябрьском солнце или же у камина разглядывал фотографии бедных, еще не цивилизованных дервишей.

С бракосочетанием совпало другое важное событие, а именно приобретение лордом Эдуардом Грайтоном новой трубки. После тщательных размышлений трубка была заказана фабрике Донхилия. Для ее изготовления был найден особенно толстый и пористый корень вереска. Трубку поместили "Е.Х.4", опоясали золотым кольцом и, снабдив особыми щипцами, мазями и лаками, в роскошном футляре привезли в поместье Лайс к часу брачной церемонии.

Когда молодые остались одни, лорд Эдуард Грайтон прочел жене "Песнь песней", поцеловав ее прохладную восковую шею и, сев в кресло, закурил новую трубку. Выдыхая дым, в котором слышались все пряные благоухания Востока, опьянявшие некогда бедную Суламиту, лорд с нежным удовлетворением разглядывал леди Мери в розовой шелковой пижаме, все еще не засыпавшую, как бы в ожидании чего-то.

Лорд Эдуард Грайтон хотел спросить, отчего она не спит, но раздумал беседа помешала бы курению, а по горделивому замыслу лорда Грайтона трубка "Е.Х.4" должна была затмить славу всех ее громких предшественниц.

Обкуривание трубки успешно продвигалось вперед. Несколько более сложным являлся всесторонний уход за леди Мери. Подумав хорошенько, лорд Грайтон, всегда глубоко уважавший законы природы, пришел к выводу, что несправедливо и вредно лишать леди Мери некоторых развлечений, свойственных даже английским аристократам. Он долго колебался в выборе джентльмена, который был бы достоин прикоснуться к супруге лорда Эдуарда Грайтона. Встретившись на скачках в Оксфорде со своим молодым другом, лордом Вильямсом Риджентом, заботливый супруг уверовал в провидение, ведь на скачки он поехал случайно, а бледность леди Мери говорила о необходимости скорейшего разрешения вопроса. Лорд Вильямс Риджент был высок и молод, он напоминал фотографию лорда Эдуарда Грайтона в молодости: те же водянистые, неморгающие глаза, тот же вечно сомкнутый рот, те же длинные руки и ноги, приспособленные только для крупных и совершенно необходимых движений. Ко всему, лорд Вильямс Риджент курил также трубку Донхилия, помеченную "О.В.48". Впрочем, его страстью были не трубки, а бульдоги. Он обладал лучшей в мире коллекцией, состоявшей из восьмисот четырнадцати высококровных английских псов. Вместе с лордом Робертом Саймисоном, владельцем лучших конюшен, коллекционер трубок лорд Эдуард Грайтон и любитель бульдогов лорд Вильямс Риджент являлись истинной гордостью Великобритании.

По приглашению лорда Эдуарда Грайтона молодой лорд Вильямс Риджент приехал в Лайс, сопровождаемый псарем Джоном и десятью наиболее высококровными псами.

Великодушный супруг познакомил его с женой и, почитав одну из телеграмм, поднесенных лакеем на тяжелом подносе, спешно уехал в Лондон.

Далее все пошло хорошо. Лорд Эдуард Грайтон обкуривал трубку, леди Мери читала сонеты Елизаветы Броунинг, переплетенные в фиолетовую замшу, и разглядывала портреты Россетти, на сходство с

которыми ей указывали неоднократно истинные знатоки. Раз в месяц прибывали лорд Вильямс Риджент, псарь Джон и десять бульдогов.

Лорд Эдуард Грайтон часто видел, как его жена гуляла с молодым другом по липовой аллее, и одобрял спокойствие обоих: никогда не менялся цвет щек леди Мери, никогда не погасала трубка лорда Вильямса Риджента.

Надо думать, что трубка, что трубка "Е.Х.4" была бы благополучно обкурена до конца, если бы не злополучная прогулка в одно апрельское утро лорда Эдуарда Грайтона по старинному парку Лайса. Проснувшись рано, проделав несколько простых гимнастических упражнений и откушав жидкой кашицы с молоком, лорд Эдуард Грайтон, в ожидании часа, когда выйдут к завтраку леди Мери и гостивший в Лайсе лорд Вильямс Риджент, отправился к охотничьему павильону. Утро было теплое, и, глядя на легчайшее оперение каштанов, лорд думал о величии творца, установившего ход времен года, строй и гармонию миров.

На большой поляне ожидало его несколько неделикатное зрелище, а именно: высококровные бульдоги лорда Вильямса Риджента предавались любовным утехам, причем девять кобелей, высунув языки, с выкатившимся наружу рачьими глазами, огрызаясь, скуля, лая, гонялись за одной сукой, которая после долгих колебаний и тявканий, наконец отдалась одному, с виду ничем не отличавшемуся от других. Впервые лорд Эдуард Грайтон присутствовал при подобной сцене, и хотя он неоднократно читал о способах размножения животных, все увиденное поразило, даже возмутило его невинную душу. Но вскоре, оправившись от первого впечатления, он благословил торжество цивилизации - перед ним воочию была пропасть, отделявшая пса, хотя бы и высококровного, от английского джентльмена. Он даже подумал, глядя на свесившиеся до земли песьи языки, - как хорошо, что бульдоги не курят трубок, иначе они только портили бы эти деликатные и прекрасные вещи!

С подобными мыслями лорд Эдуард Грайтон направился дальше по тенистой липовой просеке. Дойдя до охотничьего павильона, он почувствовал некоторую усталость от новых переживаний, а также от апрельского воздуха и решил зайти внутрь, чтобы немного передохнуть. Но, приоткрыв дверь, лорд Эдуард Грайтон не переступил через порог. То, что он увидел, было действительно

неправдоподобно и во много раз ужасней времяпровождения невоспитанных псов. На полу лежала леди Мери, в неистовстве сжимая небритую низменную голову пса Джона. На ее щеки, обычно бледные, как северная летняя ночь, сошла дикая тропическая заря. Неудержимый гнев овладел лордом Грайтоном, крепко вцепившись зубами в трубку, он вдувал в нее вихрь возмущения и отчаяния. Но счастливые любовники не замечали страшной тени на пороге, выпускавшей грозные тучи дыма, они продолжали шептать нечеловекоподобные слова нежности и страсти.

Лорд Эдуард Грайтон собрался с силами и, резко повернувшись, пошел вновь по липовой просеке. первой его мыслью было: случилось нечто непоправимое, два года высокого творчества погибли, трубка, лучшая из трубок, единственная "Е.Х.4" - испорчена навеки!

После второго завтрака, за которым лорд Эдуард Грайтон был, как всегда, ровен и благодушен, а леди Мери, как всегда, тиха и бледна, супруги вышли на веранду. Взяв леди под руку, лорд нежно промолвил:

- Дорогая, сегодня вечером мы уезжаем в Каир. Это совершенно необходимо для вашего здоровья.

- Леди Мери ничего не ответила, она только еще более побледнела, что при ее обычной бледности было делом далеко не легким. Из ее другой свободной руки выпал на землю томик стихов Елизаветы Броунинг, переплетенный в фиолетовую замшу.

Ровно в восемь часов вечера автомобиль увез лорда и леди на вокзал. После их отбытия лакей разыскал пса Джона, мирно спавшего рядом с десятью бульдогами у крыльца охотничьего павильона, и протянул ему на тяжелом подносе трубку "Е.Х.4".

- Лорд, уезжая, приказал передать вам эту трубку в награду за ваше отменное поведение и редкие способности.

Протирая споронок глаза, тупо поглядывая на лакея, державшего поднос со странным и ненужным подарком, Джон вдруг что-то понял и, не сдерживаясь, крикнул:

- А леди?

Лакей недоуменно скосил свои глаза, давно лишившиеся права недоумевать, и процедил:

- Разумеется, леди сопровождает лорда. - Лакей ушел, оставив Джону обкуренную трубку.

Но Джон не был лордом, он был лишь простым псарем. Поэтому, рассеяно сунув трубку в карман, он начал петь какую-то весьма прискорбную песенку о бедной девушке, насильно выданной замуж. Он так жалобно пел, что все десять высококровных бульдогов не выдержали и, задрав вверх умиленные жабы морды, принялись выть.

Когда три недели спустя, направляясь в Обердин, я познакомился с Джоном, он все еще продолжал вздыхать о бедной леди. Он рассказал мне короткую и печальную повесть любви и подарил мне трубку "Е.Х.4". Зачем ему трубка? Разве псарь, который полюбил, сможет когда-нибудь ровно, размеренно дышать?

У него осталась память о леди Мери, а у меня превосходная трубка Донхилля. Но, каюсь, - я люблю ее не только за приятный вкус и благородную внешность. Нет, куря ее, я как бы вижу щеки леди, озаренные великолепным пожаром, и грозную тень лорда, в ярости сжимающего зубами черный твердый мундштук. Я люблю ее за то, что она испорчена, за то, что человеческое дыхание не поддается учету, за то, что чувства любви и гнева сильнее всех лордов и всех леди, сильнее гармонии миров, картин Россетти, сонетов в замше, конюшен, дерби, сильнее разума и сильнее воли.

### Шестая трубка

Вопреки общепринятому мнению, чудеса происходят даже в такой деловой стране, как Америка. Безусловно чудом являлось подписание Джорджем Рэнди и его женой Мери, этими захудалыми актерами мюзик-холла, никогда прежде не игравшими для кинематографа, контракта с фирмой "АУС" на участие в большом фильме "Люди и волки". Чудо это объясняется (если чудеса вообще могут объясняться) рассеянностью администратора фирмы "АУС", огорченного изменой своей супруги и принявшего Джорджа Рэнди за Джона Рэнджа, неоднократно выступавшего в больших фильмах.

Впрочем, ни Джордж, ни Мэри не теряли времени над размышлениями о причинах своего успеха. Условия более чем посредственные, а именно - уплата одной тысячи долларов, совершенно ошеломили их, и, получив аванс, они приступили к покупкам, связанном с путешествием, так как значительная часть фильма "Люди и волки" должна была сниматься в далекой Канаде. Друзья предупредили Мери, что в Канаде очень холодно, и она приобрела теплые вязаные штаны для себя, набрюшники для мужа.

Что касается Джорджа, то он искал трубку, достойную попасть в картину, которая будет демонстрироваться перед миллионами людей в Нью-Йорке и в Риме, в Токио и в Москве. После долгих поисков он набрел на трубку совершенно особого устройства, представлявшую собой закрытый шар с маленькими дырочками, дабы на сильном ветру из чашечки не вылетали искры. Приказчик, показывая трубку, сказал, что она предназначена для шоферов, летчиков и моряков. Джордж подумал, что киноактер, как солдат, должен быть готов ежеминутно кинуться в пучину вод или взлететь в воздух, и приобрел сложную трубку.

В вагоне Джордж начал изучать сценарий, и вскоре из тика дивана выполз охотник Том. Мери же оставалась по-прежнему его женой. Это очень растрогало Джорджа, и он поцеловал прядь ее волос над чуть розовеющим ухом. Но Мери покидала Тома, и Джордж, растерянный шептал:

- Мери, ты меня покинешь? Ради голубой лисицы?

Мысль об этом была невыносима, и Джордж не мог понять, почему люди так злы, почему они обрекли Джорджа за одну тысячу долларов на подобные муки. Будучи добрым, Джордж с отвращением чистил новое охотничье ружье.

Негр-проводник, который хотел поваксить ботинки, долго не мог прийти в себя. Он три ночи подряд видел во сне господина в палевых перчатках, который сжимал ружье и кричал, что убьет похитителя, хотя в вагоне не было никого, кроме дамы, спокойно кушавшей консервы из жестянки. Негр не знал, что такое кинематограф, и, просыпаясь среди ночи, не мог понять, почему люди так злы.

Когда артисты приехали в маленький городок Айбек, Мери убедилась, что в Канаде действительно очень холодно. На вокзале их встретил режиссер, радостно объявивший, что все уже в сборе, даже волки, привезенные с утренним поездом. Джордж познакомился со своим соперником, коварным Джо. На сопернике был бежевый жилет из шерсти ламы, и он с достоинством протянул Джорджу карточку, гласившую:

ВИЛЬЯМС ПОКЭР

Киноактер

Нью-Йорк - Лос-Анджелес

Затем артисты поехали на санках, и Джордж наконец, почуввав дыхание ветра, закурил свою трубку. Ее качества вполне соответствовали словам приказчика, и ни одна искра не выскользнула из шара. В заезжем двор комнаты были жарко натоплены. Засыпая, Джордж, решив, что не все написанное исполняется, ласково шепнул Мери:

- Ради тебя я готов убить волка. Ведь ты меня не покинешь?

На следующее утро исчезли и палевые перчатки, и бежевый жилет из шерсти ламы. Том с трудом ворочался в меховых штанах, твердых, как шкура мамонта. Лицо его закрывали огромные свисающие наушники. Мех был, конечно, не мамонтов, а заячий, но Джордж помнил, что если заяц - трус, то Том должен быть храбрым. Том и Мери пришли в маленькую хижину среди леса. Вокруг был только снег, он на солнце зеленел, от этого болели глаза, а надеть очки было невозможно, очки носят профессора, а не охотники. Вокруг хижины таились враги - индейцы и волки, но самым опасным врагом являлся белый - Джо. Против него были бессильны даже милые друзья - ковбои. Джордж, осмотревшись, решил, что все же в хижине очень уютно. Мери варила Тому суп, и это было гораздо приятнее закусочных Нью-Йорка: можно было, отрываясь от похлебки, целовать прядь волос над чуть розовеющим ухом, и после обеда не приходилось расплачиваться с алчными официантами. Джордж прежде видел Мери в разных ярких платьях, с тысячами блесков. Но никогда она не была столь прекрасной, как теперь, в простеньком ситцевом платьице, гладко причесанная и похожая на школьницу.

Том, восхищенный шептал:

- Мери, я тебя люблю!

И Мери искренне радовались Тому. Но Мери была женщиной, и, как всякая женщина, в небоскребах Нью-Йорка или в лесах Канады, она хотела быть еще прекрасней. А для этого ей не хватало яркого платка, нитки бус и маленького зеркальца. Джордж Рэнди подумал, что все эти вещицы можно купить в Нью-Йорке за два доллара; простой статист получает пять долларов за выход, а он за фильм "Люди и волки" получит тысячу, но все эти соображения не носили реального характера, ведь с Мери находился не Джордж, а Том, и в канадском лесу не было нью-йоркских магазинов. А Мери все

грустнее и грустнее улыбалась: ей очень хотелось получить зеркальце, чтобы узнать, действительно ли она так хороша, как уверяет Том.

И Том решил во что бы то ни стало порадовать маленькую Мери. В пяти часах езды от хижины находилась лавка скупщика мехов, известного мошенника Джурса. Том запряг цугом шесть собак и поехал. Снег скрипел, дул ветер, и трубка работала исправно. У Джурса оказалось все, что надо, - и ярко-зеленый платок, и зеркальце, и крупные бусы. Но мошенник Джурс хотел за свои товары шкуру голубой лисицы, а так как у Тома не было никаких шкур, то Джурс не дал Тому ни платка, ни зеркальца, ни крупных бус. Том поехал обратно; снег скрипел, собаки лаяли, дымила трубка, и бедный артист Джордж Рэнди, который часто отходил от витрин нью-йоркских магазинов, не имея доллара, чтобы купить жене дешевую обновку, грустно думал, почему же люди так злы и Джурс не подарил Тому хотя бы зеркальца для грустной Мери?

Вернувшись в хижину, Том поцеловал прядь волос жены над розовеющим ухом, взял ружье и на лыжах ушел в лес. В лесу было очень страшно, но Том храбро курил трубку. Он долго шел, пока наконец не увидел желанного зверя. Том выстрелил и побежал, чтобы схватить добычу, но нашел лишь красное пятно на снегу. Не унывая, Том пошел по следам раненного зверя, и через несколько минут набрел на коварного Джо, державшего в руке голубую лисицу, а с ним улыбку грустной Мери. Том знал, что Джо похитил его добычу, но, нахмурясь, он отвернулся и прошел мимо. Том не мог убить человека из-за лисицы, хотя бы и голубой. Он подумал, что Мери прекрасна и без бус, и, заглянув в его глаза, она убедится в этом. Но, возвращаясь в хижину, Том сбился с пути, и на него напали волки. Сначала престарелые звери, привезенные из зверинца Квебека, не хотели нападать, и режиссер злился. Потом они все же напали и даже загрызли одну из собак. Джордж слегка трусил, но Том должен был быть храбрым, и, закурив трубку, он деловито развел костер, бросая в волков пылающими головнями. Поджав хвосты, волки выли, как провинившиеся собаки. К утру, когда рассвело, Том нашел наконец дорогу, но, подойдя к хижине, он сразу заметил, что случилось что-то недоброе, - дверь была раскрыта настежь. Мери не было в хижине, и первое, что пришло в голову бедного Тома, было - "индейцы".

Но Джордж Рэнди учил когда-то в школе географию; он твердо помнил, что в этих местах никаких индейцев нет. Конечно, Мери похитил коварный Джо, впрочем, обманно называвший себя Джо, ведь Джордж знал, что наглого соперника зовут Вильямсом Покэром. Увидав пустую хижину, Джордж подумал, что теперь он, наверно, застрелит артиста Вильямса Покэра: Мери не лисица, и даром он ее не отдаст.

Снова Том мчался на шести собаках, запряженных цугом. Но случилось несчастье, столь частое при подобном способе передвижения, - собаки вывалили Тома в снег. Он долго лежал и отморозил ноги, пока его случайно не подобрал мошенник Джурс. Джурс угостил Тома виски, лукаво усмехаясь, и Том понял, что Джурс знает, где теперь находится коварный Джо. Он попытался расспросить Джурса, но мошенник отнекивался, подливая Тому виски. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы Том не заметил на прилавке шкуру голубой лисицы. Тогда он так грозно ударил по столу кулаком, что бутылка виски и стаканы полетели на пол, а Джурс, умевший лукаво улыбаться, показал, что он умеет не менее выразительно дрожать. Мошенник признался, что Джо продал ему шкуру голубой лисицы и, получив деньги, уехал с какой-то женщиной в город Квебек.

Том, даже не отогревшись, помчался вдогонку за коварным Джо. Через час он был уже на станции Айбек и там увидел всех артистов в сборе. Джо, сбросив меховую куртку, снова щеголял в жилете из шерсти ламы. Он ехал с Мери в отдельном купе, и Джордж видел, как они ласково перемигивались. В других купе разместились режиссер, мелкие артисты, статисты и даже собаки, кроме одной, которую загрызли волки. Только Джордж должен был залезть под вагон и висеть на перекладине, потому что Том был беден и у Тома не было денег на билет. Джордж крепился - ради Мери он готов был висеть на перекладине, крепился и дымил своей усовершенствованной трубкой. А над ним в отдельном купе веселая Мери кокетничала с коварным Джо.

Бедный артист Джордж Рэнди с грустью покидал снежный лес, где он мог бы спокойно жить в хижине с милой Мери, если бы не коварный Джо, который, пользуясь тем, что у него шкура голубой лисицы и контракт с фирмой "АСУ" на пять фильмов, похитил Мери. Джордж с грустью покидал лес, где остались только бутафорский дом

да четыре волка, с рубцами прутьев, с опаленной головнями шерстью, четыре престарелых волка, брошенных среди снега, воющих как провинившиеся псы.

Он ехал один в ночном экспрессе. Мери и коварный Джо в это время уже отдыхали в салоне гостиницы "Александрия". Когда охотник Том в своих меховых штанах завертелся в зеркальной двери гостиницы, посетители, прохожие и даже швейцар, выдавший в жизни много английских лордов и разбогатевших бродяг из Калифорнии, - все рассмеялись. Смялись тощие пружинистые коммерсанты, смеялись расфранченные дамы с платьями от Пакэна на обветренной, рабочей, гусиной коже Нового света, смеялся негритенок-грум, показывая кончик малинового языка, смялись все: уж очень был смешон бедный Том в заячьем меху, сжимавший ружье, среди зеркальных дверей, бронзы курительного салона и плакатов пароходных компаний. Смеялись все, понимая хорошо, что Мери, отдыхающая в салоне шестьдесят восемь с коварным Джо, никогда не вернется к Тому в жалкую лачугу среди леса, где нет грумов, ни музыкантов, но только снег и волки. И Джорджу было очень больно от того, что злые люди смеялись над его простой любовью.

Том хотел пройти наверх, чуя, что Мери в одной из комнат, в одной из трехсот комнат с одинаковыми дверьми, помеченными разными цифрами, но лакеи не хотели пустить Тома наверх. Тогда Том отшвырнул одного, особенно наплого, и с удовольствием отметил, что этот напльй лакей был никем иным, как известным мошенником Джурсом. Из трехсот дверей Том нашел одну, потому что у него было сердце, которое вывело его из чащи канадского леса, когда он заблудился, убив голубую лисицу, - за этой дверью коварный Джо веселился с Мери, и на ней стояли цифры: 68. Том увидел, что дверь заперта, но он умел в лесу упираться плечом в надрубленное дерево, и через минуту дверь завизжала.

Рядом с Томом стоял режиссер, и он все время просил артиста Джорджа Рэнди сохранять спокойствие, чтобы не испортить главных кадров фильма. Но Джордж не нуждался в подобных наставлениях, он был тверд как камень и, дымя своей трубкой, знал, что ему делать. Он хорошо помнил, что Мери не голубая лисица. Взломав дверь, Джордж увидел нечто ужасное, много ужаснее того, что мог предположить.

Мери сидела на коленях Вильямса Покэра, и наглый актер целовал прядь волос над чуть розовеющим ухом.

Джордж, на себе испытавший всю храбрость охотника Тома, не мог поколебаться. Он только крепче сжал зубами трубку и, хорошо прицелившись, чтобы не было промаха, выстрелил. Раздался сильный шум, Вильямс упал, и удовлетворенный Джордж ослабился. Но сейчас же он увидел, что напец, кося своими желтыми гнусными глазищами, продолжает кокетничать с Мери. Тогда Джордж отбросил негодное ружье и, как истый лесной человек, стал душить Вильямса. Но режиссер и другие злые люди оттащили его, они кричали, что он сошел с ума и что на него наденут смирительную рубашку. Этого Джордж Рэнди постичь не мог, - почему злые люди позволили актеру Покэру похитить его жену, даже смеялись при этом, а когда он захотел взять свою жену обратно, ведь Мери не лисица, схватили его за руки и начали ругать.

Вильямс Покэр лежал на диване. Его голова была обвязана мокрым полотенцем. Снизойдя к просьбам очаровательной Мери, он простил Джордж Рэнди - ревнивого мужа и плохого актера. Но режиссер, крайне раздраженный, сказал Джорджу, что он переиграл, что, кроме всего прочего, дым от трубки скрыл его лицо в самые патетические минуты и что фирма "АСУ" не возобновит с ним контракта.

Когда Джордж и Мери возвращались в экспрессе домой, больше не было ни Тома, ни охотничьего ружья, и негр-проводник мог спать без страшных сновидений. Мери злилась на бездарного мужа и не позволяла ему целовать прядь волос над чуть розовеющим ухом.

- Ты идиот! "АСУ" большая фирма. Что мы будем делать?

Но вместо прямого ответа Джордж предпочитал нежно шептать:

- Мери, ты меня не любишь?

И он сравнивал любовь Мери, не выдержавшего одного неудавшегося фильма, со своей, ради которой он боролся с волками, висел на перекладине вагона, падал в снег возле лавки Джурса и терпел насмешки челяди в гостинице "Александрия".

Вскоре показались отвесные скалы нью-йоркских небоскребов, и ничего не напоминало о забытых волках, завывавших где-то в лесах Канады. Даже остатки долларов, до некоторой степени связанных с их воем, исчезли. Начались обыкновенные дни безработного актера.

Часто Джордж, проходя мимо недоступных ресторанов, с вожделением думал о вкусной похлебке, которую в милой хижине прелестная Мери варила охотнику Тому. А Мери становилась все злее и злее: она хотела получить платье, ожерелье и зеркальное трюмо. Последнее было совершенно необходимым, чтобы Мери могла увидеть, насколько она прекрасна даже без нового платья. Все эти вещи можно было купить в магазине, и магазинов в Нью-Йорке было очень много, но в любом из них злые люди требовали взамен доллары так же, как мошенник Джурс требовал за зеркальце и бусы шкуру голубой лисицы, и Джордж не мог подарить трюмо раздосадованной Мери. Часто теперь Мери плакала и корила Джорджа за то, что он плохой актер, не умеет отличить кинематографа от жизни и подходит к святому искусству с жалкими замашками ревнивца. Джордж понимал, что он виноват, и давал клятвы быть впредь умнее. В долгие дни безработного актера он много думал и, думая, дошел до того, что все происходящее вокруг - различные фильмы хороших или плохих фирм. Джордж основательно подготовился к новой съемке, и теперь даже лучшая фирма "ВВ" могла бы подписать с ним контракт.

Но история фильма "Люди и волки" обошла все американские газеты, и когда Джордж предлагал свои услуги, над ним смеялись так же, как смеялись лакеи "Александрии" над бедным Томом, никто не понимал, что грустная Мери хочет зеркальное трюмо.

Как-то утром Мери сказала мужу, что она идет к актеру Вильямсу Покэру, который работает в фирме "ВВ", чтобы попросить его устроить ее на роль героини, а бездарного Джорджа в качестве статиста. Мери ушла утром и долго не возвращалась. Под вечер обеспокоенный Джордж отправился за ней. Покэр жил на семнадцатом этаже, и, глядя из окон приемной на отвесные скалы домов, Джордж подумал, что режиссер фирмы "ВВ" знает различные трюки и умеет ловко подделывать город.

Услышав шум, похожий на треск аппарата, Джордж решил, что происходит съемка, и прошел из передней в соседнюю комнату. Действительно, он не ошибся. Мери сидела на коленях Вильямса. Они целовались крайне натурально, обнаруживая при этом хорошую школу. Всякий профан решил бы, что они делают это взаправду, но Джордж знал все тонкости кинематографа. Любовная сцена так ему понравилась, что он не сдержался и крикнул:

- Bravo! Достойно "ВВ"!

Тогда Мери, испуганно застегивая платье спряталась за портьерами, а Вильямс Покэр, взбешенный, ударил Джорджа по щеке, ударил очень театрально, но и очень больно. Джордж подумал, какой смешной сценарий, и начал размышлять - комедия это или драма, и как ему надлежит поступить? Склонившись к мысли, что Вильямс и Мери играют драму, он также ударил своего обидчика. Вильямс Покэр тогда достал из шкафа два пистолета и один из них подал Джорджу. Было совершенно ясно, что Джордж не ошибся и что это чувствительная драма. Джордж сохранял полное спокойствие и, зная, что в кинематографе пистолеты и ружья только шумят, но никого не убивают, для вида прицелился, стараясь это сделать как можно эффективней.

Вильямс Покэр упал так же, как в гостинице "Александрия", но на этот раз он не косил своими желтыми глазами, и Мери не улыбалась, а с криками "убийца!" начала громко плакать.

Хотя Джордж понимал, что слезы Мери - кинематографические слезы, он все же смутился, он не мог видеть ее слез.

- Мери, я хорошо сыграл, и ты получишь теперь зеркальное трюмо!..

Вскоре пришли статисты в полицейской форме и увели Джорджа. В доме, куда его поместили для дальнейших съемок, было много одинаковых дверей с цифрами, как в гостинице "Александрия". Но это был очень неудобный дом, и Джорджу приходилось там очень много терпеть. Он даже жалел о перекладине вагона. Единственной подругой, услащавшей несколько его дни, была трубка. Он курил ее и любовался ею, как прекрасным научным изобретением. Правда, в доме, где он находился совершенно не было ветра, но Джордж помнил, что он должен, как солдат на войне, быть готовым в любой момент кинуться в воду или взлететь на воздух.

Дни шли за днями, и Джордж начал тосковать. Его заставляли играть в очень скучном фильме, который зрители безусловно освищут. "ВВ" неожиданно оказалась дурной фирмой.

Наконец режиссер приступил к съемке следующего действия. Вместе с Джорджем играли многие статисты в судейских колпаках. Главный из них был актер, перешедший в "ВВ" из "АСУ" и когда-то

игравший мошенника Джурса и наглого лакея гостиницы "Александрия".

Увидев в зале Мери, исполнявшую второстепенную роль, Джордж крикнул:

- Мери, я из-за тебя играю! Мне очень трудно, "ВВ" придумала ужасные условия...

Но Мери ему ничего не ответила. Тщательно исполняя свою роль, она закрыла лицо платочком и отвернулась.

Джорджа отвезли обратно в плохую гостиницу, и снова потянулись однообразные дни. Не выдержав, Джордж написал режиссеру фирмы "ВВ", что долгие перерывы между съемками угнетают его и что он требует ускорения темпа работы. Режиссер согласился с ним и передал через хмурого статиста, одетого сторожем, что завтра состоится съемка последнего эпизода.

Джорджа разбудили ночью. Бедный актер Джордж Рэнди знал, что теперь он окажется на должной высоте и не переиграет. Ему позавидует сам "король экрана", чья невозмутимая маска глядит с плакатов пяти материков, японский мим Сако Хакаява.

Место съемки понравилось Джорджу. Он любил на экране все достижения современной техники: массивные танки и карманные телефоны, торжественные обелиски грузоподъемников и легчайшие гоночные машины. Когда его ввели в комнату, он сразу оценил величие и красоту декорации: голые стены, три электрические лампочки необычайной силы и большое кресло, напоминавшее слегка зубодробное, но гораздо сложнее и внушительнее. Джордж понял, что фирма "ВВ" действительно не останавливается ни перед какими затратами. В сцене участвовали, кроме Джорджа, еще два мелких актера: один играл пастора, другой, весь в черном, исполнял какую-то не совсем понятную Джорджу роль.

Присутствующий режиссер фирмы "ВВ" в высоком цилиндре предложил Джорджу сохранять спокойствие. Но актер Джордж, испытавший немало трудных съемок, не нуждался в подобных назиданиях. Он понимал, что играет для необыкновенного фильма, который будет демонстрироваться перед миллионами людей в Нью-Йорке и в Риме, в Москве и в Токио. Он сидел величественный на высоком кресле. Вдруг он вспомнил, что мелкой оплошностью едва не

испортил фильма, и, с грустью отрывая от губ недокуренную трубку, сказал:

- Возьмите ее; дым может заслонить лицо.

Он сидел и думал о том, что теперь у Мери будет все, и Мери вернется снова к покинутому Тому. Они уедут далеко в Канаду, в лес, где остались забытые престарелые волки. Джордж думал о том, что волки все же добрее людей, - у них нет таких трудных фильмов. И когда ток уже коснулся спины великого актера Джорджа Рэнди - охотник Том еще раз прошептал:

- Мери, ты ко мне вернешься?..

А трубку особой модели, предназначенную для шоферов, летчиков и моряков, взял себе на счастье мелкий актер в черном, исполнявший не совсем понятную роль. Вскоре актер уехал в Пикардию, где шла большая съемка войны. Он там играл недолго. Уцелевшая трубка досталась мне. Что касается меня, то я еще играю и, кажется, не последний эпизод. Мне часто приходится курить эту усовершенствованную трубку при полном безветрии. Но режиссер фирмы "ВВ" может быть спокоен, - я не испорчу фильма и в нужную минуту крикну:

- Уберите! Дым может скрыть лицо...

Седьмая трубка

(Трубка фермера)

В древности люди носили на себе в качестве амулетов различные камни: от тяги к вину - холодный аметист, от приступов гнева - нежный топаз, в котором осенняя ольха, шафран и всепрощающее солнце, от самой губительной страсти, любовной, - бирюзу. Но камни - вещь дорогая и не всякому доступная. Мне же, по некоторым особенностям моей впечатлительной природы, необходим талисман от чар, которые люди, обладавшие драгоценными камнями, а также избытком фантазии, приписывали различным богиням с поэтическими именами. Счастливый случай послал мне вещь, вернее, останки вещи, прекрасно заменяющие персидскую бирюзу. Это - глиняная трубка со сломанным мундштуком. Как и все голландские трубки, она отличается белизной и невинностью. Целый город - Гуда, в котором восемнадцать церквей и ни одного притона, занимается изготовлением подобных трубок. Сердечные голландки в белоснежных чепцах с голубиной кротостью лепят из голландской

земли, столь богомольной, что, безусловно, на ней разыгрались бы сцены священного писания, если бы случайно не заняла ее место грязная и развратная Иудея, хорошенькие чистенькие трубки. Девственные голландцы обжигают их на огне столь возвышенном, что он пылает как нимб вокруг великомучеников и бессребреников. Засим десятки тысяч трубок, среди дюн, плотин, каналов, мельниц, одухотворяют труды и досуги отцов, сыновей, дедов, тестей, зятей, даже несчастных одиноких холостяков.

Все голландцы, как семейные так и холостые, курят свои трубки с исключительной медлительностью, памятуя, что спешит лишь тот, у кого совесть нечиста.

Полуразбитая трубка, которую я бережно храню, хотя она и мало пригодна для своего прямого назначения, принадлежала человеку с незапятнанной совестью - Мартину ван Брооту, владельцу большой фермы в окрестностях Алькамара. История о том, как она перешла в мои недостойные руки, лишившись при этом кончика своего длинного носа, связана с печальными и трогательными воспоминаниями моей ранней юности.

Мне было восемнадцать лет, я еще не курил трубки, изредка для шикю дыма папиросами "Соломка", от которых у меня ныло под ложечкой. Я также еще не знал, что в жизни мне понадобится бирюза или ее суррогат, словом я был невинен.

Вероятно, судьба, учитывая это, привела меня, обходя грязные Италии, где расплодившиеся герои Декамерона обдeldывают свои темные делишки, в добродетельную Голландию.

Весной 1909 года я приехал в Алькмар, но, смущенный величием пастора, державшего громовую проповедь в церкви, где по случаю воскресного дня находился весь город, а также хеопсовыми пирамидами красных круглых сыров, я отправился вдоль по каналу и часа два спустя постучался в ворота белого крахмального домика. На стук не спеша вышли двенадцать девушек, или, вернее, двенадцать существ женского пола, ибо к младшей пятилетней девочке вряд ли подходило это определение; что касается старших, то даже тогда я не решился бы утверждать, что они являются именно девушками. Вслед за ними, ступая так, что от одного шага до другого можно было безусловно продумать все глубины Бытия и даже Паралипоменон, показался старик лет шестидесяти, еще крепкий, с бахромой седой

бороды, среди которой, как маяк среди пены волн, мигал красный огонь длинной глиняной трубки. После некоторых переговоров, касавшихся одновременно и нравственных канонов и нидерландских

флоринов, я получил комнату в доме фермера и мало-помалу стал "своим человеком". Я узнал, что все вышедшие мне навстречу существа действительно являются девушками и, точнее, дочерьми Мартина ван Броота, овдовевшего три года тому назад; что, кроме них и меня, на ферме живут еще восемь работников и семьдесят семь коров, составляющих основу общего благополучия: Мартин ван Броот был главным поставщиком Алькмарской фабрики сгущенного молока, и каждая корова с серебряным плеском роняла в ведра, услужливо подставляемые дочерьми фермера, не менее трех флоринов ежедневно.

Жизнь на ферме не отличалась суетным разнообразием. Коровы жевали сначала сочную траву, потом не менее сочную жвачку и, дожевав, засыпали. Девушки доили коров, ели хлеб с маслом, стирали или гладили кокетливые передники и также засыпали. Работники же предпочтительно мыли и причесывали коров. Хозяин поверял отправленные бидоны, читал библию и курил трубку. Все эти занятия проделывались с отменной точностью изо дня в день, за исключением воскресений. В этот день хозяин, дочери хозяина, работники и я хором пели псалмы, пели нескладно, но усердно, а семьдесят семь коров, будучи возвращенными не где-нибудь, а на праведной ферме Ван Броота, забывали о жвачке и, прислушиваясь к пению, умильно мычали. Среди нашего безбожного века это напоминало мне наивную картину средневекового мастера, я даже находил, что выражение коровьих морд в такие часы являлось глубоко ретроспективным - как будто это не коровы, приносящая каждая по три флорина ежедневно, а евангельские волаы.

Должен прямо сказать, что мои душевные переживания не отличались ни буколической суровостью буден фермы, ни тихой благостью ее праздников. Среди универсальной идиллии я томился, сам не зная почему. Скорей всего, причины были глубоки и всесторонни: мой нежный возраст и здоровая молочная пища, от которой я быстро окреп и возмужал (при этом не следует забывать, что рядом со мной находились двенадцать дочерей хозяина, из которых только три младших не вызывали во мне ничего другого,

кроме преждевременных отцовских чувств). Я не пробовал курить папиросы "Соломка", не читал сочинений Леонида Андреева, но, съев чашку творогу со сметаной, отправлялся в поле и, грустно оглядывая крылья мельницы, пятнистых коров, беленький домик с девятью приманчивыми передниками, декламировал:

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,  
Такая пустая и глупая шутка.

Впрочем, эта "шутка" меня глубоко интересовала, и я действительно внимательно наблюдал за окружающим. Я знал, что в книгах самых различных писателей - и классиков, которых мы читали в гимназии, и новых, которых от нас всячески прятали, - изображалась предпочтительно любовь. Все фазы ее литературного развития были мною давно изучены. Я твердо помнил, что, любя, люди становятся ангелоподобными, стреляют в себя и других, идут в Сибирь или в монастырь, словом, начинают жизнь новую, действительно интересную и совсем не похожую ни на будни, ни на праздники фермы Ван Броота. Но нигде вокруг себя я не мог обнаружить никаких признаков этого возжеленного события. Дочери фермера, как я уже сказал, помимо работы, еды и сна, ничем не занимались. Никогда ни один посторонний мужчина не приближался к ферме. Девушки были похожи одна на другую и все вместе на отца - пухлые, румяные и неподвижные. Что касается работников, то и в амбаре, где они помещались, я не находил никаких следов возможной любви. По отношению к хозяйским дочерям они выявляли почтительное безразличие, и, нечаянно задевая локтем грудь девушки, работник Тео равнодушно шел дальше, в то время как я чувствовал, что никак не смог бы пережить подобную катастрофу.

Правда, иногда работники отлучались в Алькмар. Я не решался спрашивать их, что именно они делают в городе, и удовлетворялся предположениями, что городской климат более благоприятствует любви.

Увы, последнее оказалось явно ошибочным, и через месяц мои смутные томления перешли в определенное и острое желание. Неудачный выбор местожительства дал свои плоды - я рьяно влюбился в старшую дочь фермера, двадцатипятилетнюю Вильгельмину. В выборе как будто сказались моя прирожденная склонность к резко выраженным формам - все качества двенадцати сестер были всего

определеннее выявлены в Вильгельмине: округлость, белизна, отсутствие окраски глаз, зато украшенных мечтательностью, особой, национальной, чей след хранили и полотна лучших живописцев в музее Гааги, и семьдесят семь коров Ван Броота.

Влюбившись, я не знал, что мне делать дальше. Перебрав все литературные воспоминания, я остановился на Тургеневе, я избрал его своим наставником и поводырем. Но от этого мало что изменилось: следуя заветам Тургенева, я продолжал ходить в поле, декламировать стихи и выразительно вздыхать как во время еды творога со сметаной, так и после нее. Только однажды, в горячий июльский полдень, увидев Вильгельмину, плавно поносившую через двор облака своей божественной плоти, я не выдержал и, пренебрегая всеми литературными уроками, прилип губами к ее белой руке, трогательно пахнувшей кислым молоком. Не отняв сразу руки, как я уже после сообразил, по лени, Вильгельмина чудесной ладьей проплыла дальше в дом, а минут пять спустя оттуда выплыл большой грузный корабль - Мартин Ван Броот. Усадив меня рядом с собой на приступочку и закутив трубку, он начал издали:

- Когда люди жили в раю...

С грустью упомянув о грехопадении, об искуплении первородного греха, о поучениях апостола Павла, он перешел к недавнему событию. Он пустил меня к себе, уверовав в мою невинность и честность, пустил волка в овчарню, где пребывают беззащитных овец. Неужели же я, ради минутной и к тому сомнительной утехи, изберу себе уделом презрение на земле и вечный огонь в аду? Он поучает меня, как сына, оставшегося далеко на чужбине без отца, без деда, даже без дядюшки. Я должен забыть о том, что на свете существуют женщины, до того дня когда пойду, приобретя соответствующее положение и доходы, в кирку вместе с честной невестой.

Тогда, чтобы продолжить род и чтобы не впасть в гордыню, на краткий час, неустанно молясь, я смогу познать некоторые человеческие слабости.

Глубоко пристыженный, я выслушал это поучение, длившееся столь долго, что фермер трижды вытряхивал и набивал свою поместительную трубку. Когда же он кончил, я дал торжественное

обещание никогда больше своего неудачного эксперимента не повторять.

Обещание я держал крепко, проходя мимо Вильгельмины, потуплял глаза и даже в мыслях не называл ее иначе, как "возлюбленной сестрой". Только по воскресеньям, когда все обитатели фермы, собравшись в столовую, пели псалмы, я решался глядеть на девушку, зная, что в этот день все помыслы людей и даже коров пронизаны божественной благодатью. Правда, в глубине меня жили и острый болезненный зуд, и смутная уверенность, что старик фермер не во всем прав, что, кроме кирки и продолжения рода, существуют высокопоэтические в своей бесцельности и даже запретности минуты, но, будучи юношей скромным и благовоспитанным, я от зуда лечился холодными обтираниями, а от посторонних мыслей - чтением книг абстрактных и малопонятных, как-то: "Влияние света на развитие плесени" и тому подобных.

В конце лета, когда я уже помышлял об отъезде, приключилось событие, сыгравшее крупную роль в моей жизни. Поздно вечером после дождя я вышел погулять, чтобы немного остудить голову, в которой начинали копошиться рубенсовские красоты Вильгельмины. Но от сырой разогретой земли подымался душный туман, и вместо желанного успокоения я почувствовал задыханье и головокружение. Белесые пары напоминали мне дочку фермера во всей ее избыточной красоте, проносающую через двор ведра с молоком. От духоты я даже закашлял, впал в минутную ярость и, неизвестно кому грозя кулаком, прокричал:

- А все-таки, милостивые государи, любовь существует!..

Это меня успокоило, и я направился к себе спать. Но, проходя мимо крайнего в доме окна Вильгельмины, я услышал странный шум, напоминавший чавканье коров в хлеву. Не размышляя долго, я заглянул в открытое маленькое оконце. В темноте я ясно различил Вильгельмину, совершенно голую, похожую на взошедшее тесто, и какого-то мужчину с красным огоньком дымившейся трубки. Я замер. Вся моя недавняя злоба, все желания исчезли. Вероятно, со стороны я походил на обычного мальчишку, подглядевшего в окошке непристойную сцену. Но я стоял перед раскрывшимися воротами алтаря и благоговейно молился: передо мной впервые разверзлось во всей своей торжественности то таинственное, что я знал прежде лишь

по романам Тургенева и по похабным гимназическим картинкам, то, что меня страшило и влекло к себе.

Я не видел лиц - две пльбы, белая и черная, еще - огонек трубки. Но я не пропустил ни одного жеста, ни одного обряда этого прекрасного священнослужения. Когда все завершилось, я услышал шепот Вильгельмины, но слов различить не мог. Я представлял себе, что она говорит о чем-то необыкновенном: о высоких столпах тумана, пронизанных луной, о мириадах миров, о конце и о том, что конца нет. Хотя я знал, что Вильгельмина умеет говорить лишь по-голландски, мне казалось, что она повторяет своему любовнику сладостные слова Петрарки. Я ждал, что ответит ей тот, неизвестный, с красным огоньком, - как он объяснит ей туман, миры и узлы концов. Наконец раздался басок, - почему-то очень знакомый:

- На молоко набавили шестьдесят сентов с ведра...

Я слышал ясно эти слова, но столь же ясно чувствовал, что услышать их не мог, что это - галлюцинация слуха, и от страха я громко вскрикнул. Раздался легкий визг Вильгельмины и короткий звонкий стук. Я отбежал в сторону и через минуту услышал раздраженное брюзжание:

- Какой-то негодяй из работников подсматривал! Из-за него я разбил трубку!..

Вслед за этим что-то полетело из оконца на траву. Я подполз и подобрал плинную трубку с отшибленным носом, еще горячую. Я быстро прошел к себе.

Весь остаток ночи я томился над страшными вопросами: послышались ли мне кощунственные слова о молоке и кто мог быть счастливым возлюбленным Вильгельмины? Трубка не являлась приметой, ведь все голландцы курят точно такие же белые плинные трубки. Голос показался мне знакомым, но и это сходство могло быть иллюзорным. Главное, что мешало мне уснуть - это смущение: литургия окончилась водевилем. Если любовник говорил после всего пережитого о сентах, значит, любовь - низость. Если же мне, после всего высокого, что я видел, померещились эти слова, значит, я человек низкий и недостойный приобщится к таинству любви.

Следующий день был воскресным. Я встал поздно, с тяжелой головой, как после выпивки. Когда я вышел в столовую, все уже были в сборе. На медных тазах горело солнце. Белые крахмальные

переднички двенадцати дочерей празднично улыбались, во всем чувствовались мир, невинность, чистота. Я робко взглянул на Вильгельмину, но ее бесцветные глаза проливали обычную меланхолическую мечтательность. Мартин ван Броот начал петь псалом о божьих голубицах. Все подхватили. За стеной семьдесят семь коров умильно мычали. Сжимая в кармане ночную находку, я забыл обо всем происшедшем и, фальшивя, славил неокрепшим баском "святую невинность".

Когда мы кончили петь, фермер, добродушно улыбаясь, оглядел всех присутствующих. В это время он обычно закуривал свою первую воскресную трубку и курил ее, пока дочери накрывали на стол. Действительно, он залез в карман, пошарил с минуту и вдруг раздраженно пробормотал:

- Черт побери, ведь я ночью разбил трубку!..

Услышав слово "черт" в столь неподходящее время, все двенадцать дочерей, восемь работников, а за ними вслед, вероятно, и семьдесят семь коров вздрогнули. Что произошло со мной? В этот миг я терял самое большое и важное, терял то, чего у меня еще в жизни и не было, - предчувствие, веру, - терял все. Но восемнадцатилетний юноша в течении нескольких секунд вырос на двадцать лет, и вместо слез, вместо румянца стыда или визгливых обличений я спокойно вынул трубку, в которой оставалась еще щепотка табаку, и закурил ее перед фермером. Мы взглянули друг на друга и с минуту простояли молча. Какая минута! Потом сразу, одновременно, мы сделали первый шаг, подошли, наши руки столкнулись и слились в крепком пожатии. Когда же руки наконец расстались фермер заботливо сказал:

- Если вы выйдете сейчас в Алькмар, то поспеете к дневному поезду. Вильгельмина приготовит вам бутерброды с сыром.

И со свертком бутербродов, провожаемый до ворот двенадцатью дочерьми ван Броота, я покинул гостеприимный домик. Я унес из него нечто более ценное, чем бутерброды, - трубку с отбитым носом, горькую мудрость, низость, боль.

О, я не вылечился от проклятого зуда! Я думаю, что в распоряжении богинь с поэтическими именами не мальчик-стрелок, а целый улей злобных пчел. Я не ропщу. Но когда мне становится невтерпеж, когда я, вновь и вновь отчаиваясь, хочу проверить, где же она, - из сонетов Петрарки и из похабных картинок, - неужели вот в

этой, лежащей навзничь и уже готовой завести беседу о молоке и сентах, когда я слишком многого хочу, рука моя нащупывает в кармане обломок трубки.

Я припадаю к ней, отравленный двойной слюной старческого сластолюбия и юношеского отчаяния, вспоминаю богомольных коров и нидерландские флорины, вспоминаю отца и дочь - и больше ничего не хочу.

#### Восьмая трубка

В течение двенадцать лет "Мария", небольшое судно, принадлежавшее "датской компании экспорта и импорта", совершало регулярно рейсы между Копенгагеном и Рио-де-Жанейро. Другие суда компании не отличались таким постоянством, то и дело меняя Сингапур на Веракрус. Но грузчики копенгагенского порта хорошо знали, спуская под Новый год в трюм "Марии" сепараторы, что они к благовещению будут вытаскивать из трюма кули с пахучим кофе. Появление "Марии" было привычным и неизбежным, как смена времен года. Когда вдали показывалось какое-нибудь судно, все население порта - кабатчики, рабочие, матросы, менялы, торговцы, проститутки высыпало на набережные, чтобы узнать, откуда оно, чем гружено и куда идет. Но ни копенгагенские школьники первого отделения, ни чистильщик сапог в Рио-де-Жанейро не обращали никакого внимания на "Марию".

В течении двенадцати лет "Марию" водил из Копенгагена в Рио-де-Жанейро с сепараторами и из Рио-де-Жанейро в Копенгаген с кулями пахучего кофе капитан дальнего плавания Густав Ольсон. Другие капитаны меняли суда, но Густав Ольсон не расставался с "Марией". Никто не знает, когда он впервые показался на маленьком скромном судне, нельзя было себе представить рубку "Марии" без Густава Ольсона или Густава Ольсона без рубки "Марии". Кроме "Марии", у Густава Ольсона не было других Марий, ни Амалий, ни датских Иоганн, ни бразильских Марианн, ни жены, ни любовниц. Во время стоянок капитан скучал и ждал часа отплытия. Он ходил в портовые кабачки, пропахшие морской сыростью и спиртом, пил залпом виски или джин, слушал рев датских шарманок или плеск негритянских банджо, напоминавших ему голоса воли, а выпив рюмок десять, брал какую-нибудь девку, попадавшуюся под руку, белесую дочь ютландского фермера или мулатку цвета кофейных зерен - и, не

глядя на нее, быстро выпивал все поцелуи, долженствовавшие утолить его жажду, выпивал залпом, как рюмки джина, довольный тем, что волосы девушек издают запах соли и водорослей, потому что Густав Ольсон любил не женщин, а море, и каждый раз, покидая порт, он находил свою возлюбленную. Он знал все черты ее лица, и дорога из Дании в Бразилию через пустой темный океан была для старым проезжим трактом, где знаком не только каждый верстовой столб, но и каждое придорожное деревце. В шторм, стоя на мостике, он любовался нервическим припадком своей капризной подруги. Да, если бы какая-нибудь все равно, белесая или цвета кофейных зерен, - заинтересовались бы, кого любит хмурый капитан, и к кому он спешит, обрывая последний поцелуй, Густав Ольсон сказал бы: "Фермер любит солнце, жену и густые сливки, капитан дальнего плавания любит море". Сказав так, Густав Ольсон сказал бы правду, но он не сказал бы всей правды: у него была еще одна любовь. Ее и надлежит

раскрыть.

В течение двенадцати лет маленькая черная трубка с мундштуком из слоновой кости не покидала капитана. Влажный ветер дышал в нее столь же рьяно, как Густав Ольсон, и трубка пахла морем. Она дымилась, когда "Мария" рассекала холодные оловянные воды копенгагенского порта. Она дымилась, когда показывались вдалеке белые кубы рио-де-жанейровских домов, белые на темной эмали тропического неба. Она дымилась в бурю и штиль. Без трубки не было Густава Ольсона, без Густава Ольсона не было "Марии", и для того, чтобы бразильские плантаторы могли бы есть хлеб с маслом, и для того, чтобы датские вдовушки, перемолов пахучие зерна, могли бы пить крепкий кофе, не погасала на своем посту маленькая трубка, набитая черным едким табаком.

Двенадцать лет между Копенгагеном и Рио-де-Жанейро в голом, пустом океане дымилась труба "Марии" и трубка Густава Ольсона. А на тринадцатый произошла катастрофа, без диких бурь, без злостных рифов, без германских подводных лодок. "Мария" везла сепараторы, и "Мария" их довезла, только грузное сердце капитана Ольсона село на мель, и трубка не дымилась больше в его зубах, когда вдалеке показались расположенные полукругом белые кубы на темной эмали.

Это началось в Копенгагене. Когда Густав Ольсон накануне отплытия "Марии" выходил из конторы "Датской компании экспорта и импорта", где получал жалованье и служебные инструкции, к нему подошел молодой человек, странно одетый в рабочую бархатную блузу и элегантные штаны для гольфа.

- Вы капитан судна "Мария", которое завтра отправляется в Бразилию? спросил незнакомец на очень дурном английском языке.

Густав Ольсон кивнул головой. Тогда странный человек в бархатной куртке, назвавшись Жюлем де Росиньодем, заявил, что ему необходимо ереговорить с капитаном по крайне важному и секретному делу. Густав Ольсон предполагал все равно зайти в кабачок "Морское солнце" с огромной тыквой вместо вывески. Он предложил юноше следовать за ним, добавив, что в "Морском солнце" хорошее шотландское виски и укромные уголки, где можно побеседовать обо всем на свете, даже о пиратском нападении на суда "Датской компании экспорта и импорта".

В кабачке они застали сцену, очевидно, не редкую, ибо Густав Ольсон гораздо больше удивился волнению своего собутыльника, нежели происходившему, то есть драке между китайцем и датчанином из-за какой-то девки. Датчанин потерял зубы, а китаец сознание, девка же, ничего не потеряв, весело смеялась. Это происшествие привлекло общее внимание посетителей и дало полную возможность Жюлю де Росиньолю изложить суть своего странного дела.

Ему необходимо уехать в Южную Америку. Правда, послезавтра отбывает пассажирский пароход "Луиза", а "Мария", кроме своих машин, никого на борт не берет. Но на "Луизе" Жюль де Росиньоля ехать не может, ввиду обстоятельств деликатных, а именно - ввиду некоей Занзанетты, которая сейчас находится в отеле "Бристоль" и ждет Жюля, пошедшего купить для нее коробочку пудры. Кроме Жюля де Росиньоля, на "Марии" должна уехать его жена, то есть не жена, а невеста, словом вот эта самая Занзанетта.

Густав Ольсон очень хорошо понимал, что француз хочет в Америку и что у французца имеется соответствующая дама, сопровождающая его. Но он полубопытствовал, почему они оба не могут, купив два билета и прождав еще денек в комфортабельных комнатах отеля "Бристоль", сесть на "Луизу", приспособленную для перевозки особ, начинающих при первом слабом дыхании моря,

корчась, извиваться на палубе, в то время как "Мария" приспособлена только для моряков, машин и кулей с кофе. Выпив еще стакан виски, Жюль де Росиньоль мрачно ответил:

- Извольте... Я хотел Занзанетту. Занзанетта хотела изумрудное кольцо. Триста тысяч... У моего дяди, сенатора... Меня ищут... Вы старый черствый человек. Вы не понимаете, что такое любовь. А я люблю... С вами я говорю языком цифр. Перевезите меня и Занзанетту. Сто тысяч... Нет - прощайте... Можете звать полицию...

И долговязый человек в бархатной куртке, выпив всего-навсего два стакана виски, стал всхлипывать, как сопливый щенок.

Прежде всего Густав Ольсон приказал: "Перестаньте!" - и налил ему третий стакан. Затем, закулив трубку, он начал обдумывать необычайное предложение француза. Деньги мало его прельщали. Но и страх, что за подобных пассажиров капитан может поплатиться, его не останавливал. Два чувства боролись в сердце Густава Ольсона: жалость к юноше и отвращение к женщине. Он мог терпеть этих тварей на берегу, даже прибегать порой к их услугам, но женщина, первая женщина на борту "Марии", казалась ему оскорблением моря. Жюль де Росиньоль жадно следил за каждым колечком дыма, вылетающим из трубки Густава Ольсона, зная, что сейчас решается его судьба; поняв, что капитан колеблется, после четвертого стакана виски он вцепился в его рукав.

- Капитан! Вы ведь капитан дальнего плавания! А любовь - это шторм! Спасите меня, капитан!..

И против этого капитан ничего возразить не мог. Он пробормотал:

- Приходите с ней в два часа ночи. Я буду ждать у сходней.

Оставшись один, капитан начал тщательно обдумывать, как перевезти в Рио-де-Жанейро эту странную чету незамеченной. Придется уступить им свою каюту. И от мысли, что голая женщина буде корчиться в его милом пристанище, под шестью огромными картами океана, Густав Ольсон брезгливо поморщился, стукнув трубкой о свой каблук. Но делать было нечего. Пройдя на "Марию", капитан позвал матроса Джо, негра, у которого бразильские пастухи вырезали язык за то, что он обругал какую-то святую "коровой". Двенадцать лет тому назад Густав Ольсон подобрал умиравшего Джо

и взял его на "Марию". Джо был предан капитану, как лучший из псов.

- Ты будешь прислуживать им. Но никто не должен знать об этом. Смотри, не проболтайся!

Последнее, впрочем, было излишним: бразильские пастухи навеки отбили у Джо охоту что-либо говорить.

В два часа ночи Густав Ольсон и негр Джо увидели две тени в широких плащах. Они быстро спустили их в каюту. Зажигая свет, капитан отвернулся, чтобы не увидеть лица женщины, которая осквернит койку, карты, "Марию", море.

А на следующее утро - дымилась труба "Марии", дымилась трубка капитана, и судно покойно проходило мимо маленьких островков с фортами, маяками, амбарами и лебедками.

Только на третий день вечером Густав Ольсон решился пойти проведать своих пассажиров, и, собственно говоря, этот час, а именно - восемь часов пополудни 12 августа 1919 года, может быть отмечен как час крушения капитанского сердца. Все, что он застал в знакомой каюте, было необычайным. Прежде всего - запах. Казалось, что на маленькой жесткой койке расцвели тысячи чудесных цветов, непохожих на морские водоросли и неизвестных капитану. Взглянув на койку, он увидел существо божественной красоты, которое он затруднился бы назвать низким именем "женщина". Это существо, белое и неподвижное, лежало и, чуть скосив глаза, любовалось своей полуобнаженной грудью. Француз, суетсясь вокруг, робко звал ее "Занзанеттой". Сняв фуражку, капитан стоял у двери. Он не знал, что ему делать, - уйти или осмелится поцеловать ручку даму, как это делают некоторые морские офицеры, или, подобно Жюлю де Росиньолю, завопить:

- Любовь - шторм! Спасите и меня!

Занзанетта приоткрыла крохотный рот, и Густав Ольсон, слышавший только шарманки, банджо и свое любимое море, услышал звуки сладостные, нежные, безусловно доходившие свыше.

- Она говорит, что вы очень милы, капитан, - сказал Жюль де Росиньоль, так как Густав Ольсон не понимал французского языка.

- А теперь, теперь что она говорит? - наивно спросил Густав Ольсон, слыша дивные колокольчики, все еще продолжавшие звенеть.

Жюль де Росиньоль несколько смутился.

- О, теперь она говорит о другом... Теперь она говорит, что если я умру, она тоже умрет... Так сильно она меня любит...

И как бы желая доказать капитану свое право на подобную любовь, француз начал ему рассказывать, как ради Занзанетты он пренебрег честью рода Росиньоль, покинул отчий дом, расстался с любимой Францией и едет теперь в страшную страну, где ядовитые мухи, желтая лихорадка и невыносимая жара. Но капитан не слушал его - он плядел на Занзанетту, а Занзанетта плядела на свои полуобнаженные груди. Вдруг он заметил, что она чуть поворачивает голову, чем-то огорченная, и протягивает капитану изящный портсигар. Густав Ольсон понял, что Занзанетту обеспокоил едкий дым трубки. Впервые устыдясь своей подруги, он быстро спрятал ее в карман и, неловко сжимая в толстых пальцах крохотную сигарету, стал кашлять от приторного душистого дыма. Занзанетта удовлетворенно улыбнулась и принялась за прерванное занятие, то есть за любованье своими грудями.

Поднявшись через час на палубу, Густав Ольсон уже знал о происшедшей катастрофе. Он не стал ни плакать, ни ругать себя. Будучи капитаном дальнего плавания, он привык, видя перед собой даль, преодолевать все опасности, все преграды. Стоя на мостике с трубкой, слушая гул начинающейся бури, Густав Ольсон знал, что опасностей и преград будет много, он ведь должен достичь не Рио-де-Жанейро, а сердца Занзанетты, если только может быть сердце под холодной полуобнаженной грудью.

Две недели думал Густав Ольсон, как достичь этой цели. Одна фраза Занзанетты его смущала: "Ели ты умрешь, я тоже умру..."

Но капитан верил: тот, кто может дать смерть, уж конечно, может о смерти уберечь.

"Мария" находилась в ста милях от Рио-де-Жанейро, проходя мимо длинных цепей скалистых пустынных островов, где не было ни жилья, ни деревьев, ни травы, когда Густав Ольсон понял, что настало время действовать. Спустившись в каюту, он сказал Жюлю де Росиньолю:

В Рио-де-Жанейро при высадке строгий полицейский контроль. Возможно, о вас дана каблограмма. Лучше высадится на этих островках - отсюда три мили до берега - и дальше проехать на лодке.

Жюль де Росиньоль не спорил - капитан знает, что говорит. Густав Ольсон добавил:

- Чтобы не привлечь внимания команды, мы спустим вас в шлюпку через час, пока еще не рассвело, и по одиночке. Сначала я отвезу вас, а потом приеду за госпожой Занзанеттой.

Услышав свое имя женщина, занятая, как и в первый вечер, когда капитан увидел ее, разглядываньем груди, чуть повела глазами и зевнула.

Капитан позвал Джо.

- Ты спустишь шлюпку и вместе со мной отвезешь человека.

По приказанию капитана "Мария" в четыре часа утра остановилась. Сонный младший помощник, стоявший на вахте, не заметил, как по веревке спустились в шлюпку три тени. Капитан и Джо гребли, а Жюль де Росиньоль любовался звездным небом юга.

Через десять минут они достигли скалистого островка. Джо остался в шлюпке.

- Идите за мной, - приказал Густав Ольсон.

Скользя по скалам, они достигли пещеры.

- Сюда!

- Но почему? - растерянно спросил француз. Вместо ответа он почувствовал на виске легкий холодок револьвера.

- Вы останетесь здесь. Так хочу я - я, капитан дальнего плавания Густав Ольсон. Я люблю Занзанетту, и я возьму ее. Не пытайтесь сопротивляться. И скажу прямо, как должен говорить мужчина с женщиной, не надейтесь на спасенье. Я взял много узлов на юго-восток, и мы теперь далеко от больших морских дорог. Вы здесь умрете.

Присев на камень, Жюль де Росиньоль не пытался ни бежать, ни кричать, ни смягчить капитанское сердце. Безднадежность как бы укрепила его. От только попросил:

- Застрелите меня.

- Нет, выстрел могут услышать на "Марии".

- Случайно в темноте задев лицо француз, Густав Ольсон почувствовал теплые капли, как будто ветер донес до него брызги южного моря. И так же, как в кабачке "Морское солнце", капитан вторично пожалел Жюля де Росиньоля.

- У меня нет виски, - сказал он, - но возьмите эту трубку и кисет.

Курите ее - день, два, пока...

И капитан не закончил. Помолчав с минуту, он приступил к самому трудному:

Наши дела ликвидированы. Теперь я хочу просить вас об этом - напишите Занзанетте, что вы кончаете жизнь самоубийством. Этим вы оградите ее от лишних неприятностей. Если она вздумает поднять тревогу, раскроется история с кражей, и ее посадят в тюрьму как вашу сообщницу. Написав то, о чем я прошу вас, вы перед смертью сделаете доброе дело.

- Хорошо, - голосом твердым и ровным ответил Жюль де Росиньоль, но мне придется написать ей по-французски - она не понимает английского языка.

Капитана достал из кармана старую карту копенгагенского порта и самопишущее перо. Он зажег маленький карманный фонарь и увидел просветленное лицо француза, выводившего ровные бисерные строки последнего письма самоубийцы. Когда Жюль де Росиньоль дописал и фонарь погас, капитан в темноте крепко пожал его руку. Шлюпка отчалила к "Марии". Оглянувшись, капитан Густав Ольсон увидел в ночи красный огонек трубки.

Наступила минута самого страшного испытания. Спускаясь с письмо в каюту, капитан думал об одном:

"Если ты умрешь - я тоже умру..."

Занзанетта лежала все в той же позе. Вероятно, за эти полчаса, решившие судьбу ее друга, она не успела шевельнуть пальцем. Капитан протянул ей карту копенгагенского порта, на обороте которой было роковое посланье. Его рука, бесстрашно указывающая путь среди морских туманов и спокойно четверть часа тому назад пожимавшая руку своей жертвы, теперь дрожала. Прищурясь, Занзанетта читала ровные бисерные строки. Густав Ольсон ждал криков, слез, может быть, мгновенной смерти. Но кончив читать, Занзанетта аккуратно сложила карту, сунула ее за корсаж, бесстрастно улыбнулась и рукой показала капитану свободное место, приглашая его лечь рядом. Это было непостижим, но, чуя на своей щеке дыхание Занзанетты, Густав Ольсон не мог пытаться разгадать непостижимые вещи. Опьянев гораздо сильнее, чем от бутылки виски он припал к ее холодной полуобнаженной груди. Привстав, Занзанетта ловко и больно ударила его туфлей по щеке. Заслонов лицо рукой, капитан

растерянно взглянул на нее. Занзанетта, коснувшись рукой его несвежевыбритых щек и своей чуть порозовевшей кожи, укоризненно покачала головой - как мог он щетиной потревожить ее божественную плоть?..

После этого она снова легла на койку и быстро уснула. Капитан сидел на полу. Так прошла первая ночь. К вечеру следующего дня показались белые кубы рио-де-жанейровских домов на темной эмали тропического неба. Капитан стоял на мостике, необычайно мрачный, и в его зубах не было трубки.

Как всегда, "Мария", сдав машины и приняв кули с зернами кофе, после недельной стоянки отплыла в Копенгаген. В Рио-де-Жанейро капитан купил себе новую трубку, но Занзанетта выкинула ее в иллюминатор. Он покорно сидел у ног неподвижной женщины и зубрил по тетрадке французские слова - прекрасные звуки, вылетающие из ее крохотного рта. Когда "Мария" прибыла в Копенгаген, Занзанетта объявила Густаву Ольсону, что море ей отвратительно и что она хочет в Париж. Капитан пошел в контору "Датской компании экспорта импорта", и весь копенгагенский порт - капитаны и грузчики, кабатчики и девки удивленно гудел, узнав, что Густав Ольсон расстанется навеки с "Марией".

Вечером в купе первого класса Густав Ольсон выпянул в окошко - перед ним промелькнуло бледной полоской море и быстро скрылось. Он подумал о том, что жизнь его кончилась.

Целый год прожил Густав Ольсон с Занзанеттой на улице д'Асторг. Занзанетта весь день - белая и сонная, - раздеваясь догола или, точнее, никогда не одеваясь, лежала на шкуре антилопы у вечно пылавшего камина. В комнатах было невыносимо жарко и пахло духами из тридцати узких флаконов, которые она открывала и закрывала, когда ей надоедало просто лежать. Но ее любимым занятием было разглядывание собственного тела. Подняв руку или вытянув ноги, она любовалась собой и милостиво предоставляла это также Густаву Ольсону. Она не выпускала его из дому, серебряным голосом роняя дивные звуки:

- Тебя может переехать автомобиль. А если ты умрешь - я тоже умру...

Если же Густаву Ольсону удавалось уйти на час в какой-нибудь кабачок близ вокзала Сен-Лазар, где матросы пили виски, еще храня

на своих синих воротниках и обветренных шеях дыханье моря, когда он возвращался, Занзанетта брала свою туфлю и долго больно била ею щеки бывшего капитана дальнего плавания.

Густав Ольсон никак не мог привыкнуть к надушенным египетским сигаретам. Много раз он просил Занзанетту, чтобы она разрешила ему купить трубку, но всегда слышал в ответ:

- Неужели ради меня ты не можешь пожертвовать трубкой?

При этих словах Густав Ольсон вспоминал скалистый островок и красный огонек трубки в ночи.

Густав Ольсон вспоминал море и тосковал. Он уходил в переднюю, где висела его куртка, еще пахнувшая соленым ветром, долго нюхал ее. Если бы кто-нибудь в темноте коснулся случайно его щек, может быть, он почувствовал бы теплые капли, подобные брызгам южного моря.

В июле месяце Занзанетта заявила, что она согласна порадовать бывшего капитана и поехать к морю в Доволь. Они остановились в гостинице "Нормандия", и, подойдя к окошку, Густав Ольсон снова после долгой разлуки увидел свою возлюбленную. Была непогода. Море, задыхаясь, яростно ощерясь, кидалось на дощатые купальни, на кафе, на гостиницы, кидалось грозное и бессильное.

Густав Ольсон захотел услышать на щеке его прикосновение и открыл окно. Но тотчас же раздался дивный голос:

- Что ты делаешь? Резкий воздух может повредить моей коже!..

И на щеку Густава Ольсона опустилась туфля. Он должен был дышать ароматом тридцати узеньких флаконов, прибывших на морские купанья в специальном чемодане. Он хотел выйти на берег, но Занзанетта непустила его. Она была занята своими планами: ей хотелось, чтобы Густав Ольсон купил браслет с бриллиантами в виде змеи, стоивший сто тысяч франков. Густав Ольсон упирался - он потратил за год все свои сбережения, и теперь у него оставались лишь сто тысяч, полученные от Жюля де Росиньоля за переезд из Копенгагена на скалистый остров. Тогда, улыбаясь, Занзанетта обронила:

- Иди и купи этот браслет. Ты не знаешь - у меня будет сын, и мне теперь нельзя волноваться.

Час спустя она любовалась своей рукой, перехваченной браслетом в виде змеи, а Густав Ольсон, потрясенный ее словами,

глядя на море, белевшее за стеклом, думал о страшном крушении. Теперь у него будет сын - прекрасный, пахнувший с часа рождения чудными цветами, роняющий в пеленках дивные серебряные звуки. И этому душистому истукану он не сможет показать моря, не сможет вдунуть в его сердце своих плаваний, своих штормов, своего сердца, похожего на это грозное и бессильное море. И впервые Густав Ольсон понял, что он ненавидит Занзанетту, как он ненавидел ее в кабачке "Морское солнце", что ему отвратительны душный запах парфюмерной лавки и стеклянное дребезжанье мертвых слов, что рядом с ним - не любовь, не жизнь, а только женщина, которую можно купить на час мильрейсы или за кроны, в кабачке Копенгагена или Рио-де-Жанейро, но нельзя брать с собой на судно.

Вечером Густав Ольсон исчез. На следующий день швейцар почтительно осведомился у Занзанетты, где ее супруг. Она, лениво зевая, ответила:

- Не знаю. Может быть, утонул...

Швейцар, не понимая - улыбнуться ли ему шутке или высказать соболезнование, на всякий случай отправился к управляющему отеля "Нормандия" Лебе. Управляющий очень боялся всяких происшествий и робко постучался в дверь Занзанетты.

- Мосье уехал? - Спросил он, замирая, надеясь, что последует успокоительное "ну да, в Париж". Занзанетта, улыбаясь, вынула из шкатулки карту копенгагенского порта, перечла бисерные, ровные строки, вложила заботливо карту назад в шкатулку и спокойно ответила управляющему:

- Ну да. Он уехал далеко. Он уехал за своей трубкой.

После этого она указала управляющему на свободное место рядом с собой, и так как щеки мосье Лебе были всегда чисто выбриты, ее туфля осталась на этот раз без употребления.

Густав Ольсон, приехав в Гавр, сел на первый пароход, шедший в Рио-де-Жанейро. Из пассажиров третьего класса мало кто обратил внимание на угрюмого, немолодого человека, все время молча сидевшего на палубе. В Рио-де-Жанейро Густав Ольсон застал "Марию", грузившуюся, как всегда, кулями кофе. Увидав издали родное судно, он испугался, что его могут опознать, и надвинул фуражку низко на лоб.

Купив карту и компас, Густав Ольсон отправился на поиски маленького парусника.

- В такую погоду кто повезет? - сказал удивленный лодочник, показывая на высокую волну.

- Я сам, я - капитан дальнего плавания.

И набавив лодочнику цену, Густав Ольсон отчалил. Он долго боролся с противным южным ветром и только к концу второго дня увидел цепь скалистых островков. Обладая хорошей памятью, среди многих он быстро нашел один и, соскочив на камни, прикрепил лодку. В глубине маленькой пещеры он увидел скелет и нашел трубку из черного дерева.

"Вы будете ее курить день, два, пока..."

Густав Ольсон набил трубку табаком и закурил. Вокруг было только море, и, глядя на его белые оскаленные пасти, Густав Ольсон понял, что в обмене, происшедшем здесь больше года тому назад, прогадал живой, взявший женщину со стеклянным голосом и духами, а выиграл мертвый, получивший трубку, море и смерть.

Густав Ольсон лег рядом со скелетом. Вдруг он вспомнил, что скоро там, далеко, в жарких душных комнатах с тридцатью флаконами, закричит его сын. Капитан на клочке бумаги написал что-то, твердо и спокойно, так же, как писал на этом месте Жюль де Росиньоль, Занзанетте о своей страшной участи. Свернув записку, он вложил ее в мундштук трубки. Затем осторожно поднял скелет, перенес его на лодку, привязав к мачте и в крепко стиснутые зубы черепа вставил трубку. Подхваченная резким ветром, парусная лодка быстро понеслась к северу.

Густав Ольсон остался один. Жюль де Росиньоль, умирая, любил Занзанетту и курил трубку. Капитан никого не любил и у него не было трубки. Зато он сам выбрал себе прекраснейшую из смертей - на голой скале среди океана.

Три дня спустя матросы "Марии", шедшей, как всегда, из Рио-де-Жанейро в Копенгаген, увидели страшную картину, и даже самые храбрые из них, присмирив, стали поминать имена святых. Навстречу "Марии", быстро прорезая волны, неслась парусная лодка. На ней не было людей, а правил ею скелет с маленькой трубкой в зубах. Новый капитан "Марии", Август Нильсон, преодолевая охвативший и его суеверный страх, приказал своим людям поймать лодку. Но когда

матросы стали отвязывать скелет, он рассыпался, и на "Марию" они привезли только черную трубку с мундштуком из слоновой кости.

Вся команда, любопытствуя, осматривала таинственную находку. Трубку раскрыли и в мундштуке нашли записку, адресованную госпоже Ольсон, 19, улица д'Асторг в Париже, для сына Густава Ольсона.

- Это жене нашего бывшего капитана, - закричали матросы и принялись гадать, кто мог погибнуть привязанный к мачте и почему в его трубке очутилось письмо сыну бывшего капитана "Марии", по слухам мирно проживающего в Париже. Только Джо что-то знал, но бразильские пастухи навсегда отбили у него охоту разговаривать.

Трубка с запиской была доставлена в пароходную контору, а оттуда в Париж по указанному адресу. Но оказалось, что никакой госпожи Ольсон больше не существует. Занзанетта жила с управляющим отелем "Нормандия" господином Лебе, и на запрос, имеется ли при ней сын Густава Ольсона, оскорблено ответила, что никаких детей у нее нет и не может быть, ввиду того, что дети плохо отражаются на формах ее тела.

Трубка со вложенной назад запиской валялась несколько месяцев в конторе "Датской компании экспорта и импорта", пока сторож не продал ее старьевщику за пятьдесят эрэ. А за крону я приобрел ее и, не зная о существовании записки, тщетно пытался ее закурить. Наконец я увидел тоненький полуистлевший листок и, плохо владея датским языком, долго бился, пока не расшифровал его.

Вот что писал капитан дальнего плавания Густав Ольсон, посылая трубку своему неродившемуся сыну:

"Кури ее и пляди на море, никогда не пляди на женщин, проходя мимо, отворачивайся. Слушай море и, услышав, как сладко говорит женщина, заткни уши. Дыши морем и беги от запаха женщины".

Благоговейно, как сын, я прочел эти наставления и закурил черную трубку. Но не отворачиваюсь, проходя мимо женщин, не затыкаю ушей, слыша их голоса, не бегу от них прочь. Я курю трубку и вбираю соленый воздух моря. Я знаю, что корабли могут плавать и могут тонуть. Я знаю, что ничего не помогло бедному Густаву Ольсону, что непреложен путь от капитанского мостика к груди Занзанетты и от груди Занзанетты к пустынной скале и мертвым

костям. Я знаю, что любовь - шторм, и я не пытаюсь спастись. А почему дует ветер и почему гибнет сердце - этого я не знаю.

Девятая трубка  
(Трубка бога Калабаша)

Осенью 1920 года бельгийский миллионер Ван Эстерпэд поехал в Конго, не ради каких-либо коммерческих или научных целей, а исключительно для приведения в порядок своей нервной системы, сильно утомленной раутами, бриджем, ежедневной едой и еженощным спаньем. Выбор места не должен казаться удивительным: каждый совершает поездку согласно своим средствам. Если владельцы десятков тысяч едут в Остенде или в Спа, а обладающие сотнями тысяч франков доплывают до Греции и Египта, то ворочавшему многими миллионами Ван Эстерпэду не подобало выбрать для своих каникул страну более близкую, нежели Конго. Длительность путешествия его не смущала, так как он должен был ехать на прекрасно оборудованном пароходе, где, кроме обычных удобств, имелась площадка для стрельбы в голубей и джаз-банд, в отменной компании, состоящей из четырех почтенных миллиардеров и трех услужливых молодых людей, подававших надежды стать миллионерами в самом ближайшем будущем.

Во время плаванья Ван Эстерпэду не удалось отдохнуть, так как он ежедневно ел и еженощно спал, играл в бридж, слушал джаз-банд и за две недели только раз удосужился съездить в лифе на верхнюю палубу, что скорее напоминало воскресную поездку в Остенде, нежели путешествие в Конго. Прибыв в Альбертвиль, пять миллионеров и три кандидата в миллионеры, - с чековыми книжками и с поместительными чемоданами, хранившими предметы первой необходимости от блестящих цилиндров для премьер туземных театров до электрических клизм, - переехав в гостиницу "Брюссель", где продолжали свои повседневные труды, прерванные пятиминутным переездом в прекрасных лимузинах.

Путешественники уже собирались в Бельгию, когда одному из молодых кандидатов в миллионеры, который вследствие своего пристрастия к чрезмерно широким штанам слыл спортсменом, пришла счастливая идея дополнить осмотр страны небольшим путешествием по реке Конго в очаровательной яхте "Бельжик". Разумеется, будучи счастливой, эта идея была всеми одобрена, и

миллионеры, кандидаты в миллионеры, чековые книжки и поместительные чемоданы перебрались в уютно обставленные каюты яхты "Бельжик". Отдыхая от стрельбы в голубец и от джаза, они честно продолжали выполнять прочие обязанности: на яхте были - лучший повар гостиницы "Брюссель", фаршировавший крохотные омары спаржей, ананасами и очень молодыми, еще не оперившимися рябчиками, лучший тенор миланского оперного театра, не позволявший ленивцам забыть о требовательных музах, и лакей, взбивавший до легкости белков горы перин из пуха юных гагар. Единственное, от чего путники были освобождены, это трудные оброки, возлагаемые на миллионеров, как на прочих смертных, безответственными представительницами иного пола. Это было вызвано категорическими пожеланиями консилиума брюссельских профессоров, нежно заботившихся о восстановлении нервной системы Ван Эстерпэда и других утомленных тружеников.

Яхта "Бельжик" плыла вверх по реке три дня и находилась уже на значительном расстоянии от устья. В конце третьего дня, когда путники, закусывая рокфором рябчиков, слушали миланского тенора и думали о своем возвращении в Брюссель, то есть в различные будуары с пеньюарами, приключился инцидент, печальный, но, увы, не редкий в столь диких странах, как Конго.

Яхта "Бельжик" накренилась от резкого толчка, за ним последовали второй и третий. Тенор, разумеется, умолк, а миллионеры принялись визжать. Затем произошло нечто непонятное, в чем Ван Эстерпэд никак не мог дать себе отчета. Он помнил лишь, что сначала увидел каких-то животных, похожих на огромных черных свиней, и удивился туземным людям, позволяющим свиньям свободно гулять повсюду, а также туземным свиньям, находящим удовольствие в купании поздно вечером, когда вода в реке, несомненно ниже 27(. Далее он почувствовал, что кругом все мокро, и сообразил, что он попал в положение туземной свиньи. Наконец он очутился на берегу, чему способствовали толчки тех же странных животных. Он был доволен сухостью земли, но опечален толчками, которые болезненно отразились на некоторых частях его нежного тела. Почесывая на берегу свой зад, он мог наблюдать картину редкую по живописности, за которую любой кинематограф дал бы дюжину крушений поездов и даже авиационных катастроф: 28 октября 1920 ода по европейскому

летоисчислению стадо бегемотов (ибо странные животные были именно бегемотами, о чем Ван Эстерпэд догадался, вспомнив свое детство и посещения зоологического сада), резвясь и невинно играя, опрокинуло яхту "Бельжик", причем молодые бегемоты, почувствовав сильный аппетит и пренебрегая советами старых бегемотов, съели не только четырех миллионеров, трех кандидатов в миллионеры, скрипача, повара, лакея, но и поместительные чемоданы с цилиндрами, с электрическими клизмами, за что поплатились трехмесячным запором и изжогой.

Указанные болезненные явления испытывали бегемоты. Что касается Ван Эстерпэда, то, увидев гибель своих друзей, он не на шутку испугался и поспешил удалиться от берега в лежавший неподалеку пальмовый лес. Был тихий теплый вечер. Присев под пальмой на мягкий мох, Ван Эстерпэд почувствовал себя в зимнем саду ресторана "Рен Мари". Какая-то тропическая полуночная птица вполне удовлетворительно заменяла солиста миланской оперы. Прерванное столь неприятно пищеварение возобновилось, и Ван Эстерпэд спокойно уснул.

Проснувшись он начал искать кнопку звонка, но прижал какого-то огромного жука, сильно ущемившего его палец. Он позвал лакея Гастона, но в ответ с пальм посыпались большущие орехи, кидаемые рассерженными обезьянами. Раздумывая, стоит ли тереть вспухшими пальцами шишки на лбу, Ван Эстерпэд мало-помалу очнулся и вспомнил происшедшее. Меланхолично вздохнув, но отнюдь не теряя присутствия духа, он побрел по лесу, разыскивая местной почтовое отделение, чтобы телеграфно выписать из Брюсселя пароход, врача и чемодан со всеми предметами первой необходимости.

Ему повезло - через несколько часов он увидал перед собой если не почтовое отделение, то все же крохотного, черного, совершенно голого человечка. Ван Эстерпэд сразу понял, что это грум какой-нибудь местной гостиницы, и, будучи утомленным, потребовал, чтобы черный человечек отвез его на плечах, ввиду отсутствия автомобиля или хотя бы экипажа. Но грум, слушая миллионера, нагло улыбался и, вместо того чтобы присесть, как это делают дрессированные верблюды, начал фамильярно щекотать живот Ван Эстерпэда, срывая с цепочки один из брелоков. Раздосадованный Ван Эстерпэд решил пожаловаться гостиничной администрации, а пока что, проявив

хорошие способности, хотя никогда до этого времени не садился ни на человека, ни на лошадь, оседлал грума и закричал: "Гоп, гоп!". Грум не двигался с места. Миллионер пришпорил его узкими носками туфель, бил набалдашником палки по голове, но в результате грум вместо того чтобы продвигаться к гостинице, корчась упал на землю. Делать было нечего, и Ван Эстерпэд отправился дальше пешком.

Вскоре он добрался до лачуги и услышал приятный запах пищи. Вспомнив, что за весь день он еще ни разу не ел, и не желая оставаться бездельником, миллионер вошел в хижину, которая легко могла бы оказаться туземным рестораном последнего разряда. На огне жарились куски мяса, а вокруг них прыгала старая женщина, также совершенно черная. Ван Эстерпэд заказал себе порцию отбивных котлет с горошком, но это не произвело на старуху должного впечатления.

Правда, забыв о мясе, она начала прыгать вокруг Ван Эстерпэда, но не делала при этом никаких приготовлений к тому, чтобы накрыть стол, кстати, вовсе отсутствовавший. Ван Эстерпэд готов был серьезно задуматься над нравами местных жителей, но запах мяса напомнил ему о невыполненных обязанностях, и, пренебрегая всеми приличиями, пользуясь тем, что четыре миллионера и три кандидата в миллионеры, съеденные бегемотами, не могли увидеть его позора, он взял руками кусок мяса и скушал его, как сандвич во время пикника. Старуха принялась визжать и даже царапаться. Ван Эстерпэд, оскорбленный тем, что она сомневается в его кредитоспособности, дал ей билет десятифранкового достоинства. Когда же старуха, неудовлетворенная, продолжала свое неприличное поведение, миллионер, вспомнив игру в футбол, которую он наблюдал неоднократно, ударил ее ногой в живот столь ловко, что жадная владелица туземного ресторана покатила на землю. Укрепленный сознанием исполненного долга, а также куском мяса, Ван Эстерпэд заглянул в соседнюю лачугу и увидел молоденькую девушку, опять-таки черную. Ему стало совершенно ясно, что большинство людей, населяющих эти места, отличаются черным цветом кожи и, по всей вероятности, являются неграми. В дальнейшем его поведении сказались результаты советов консилиума брюссельских профессоров и отсутствие на яхте "Бельжик" особ женского пола. Ван Эстерпэд, глядя на тело девушки, вспомнил о работах, давно им заброшенных, и

решил вместо праздных ожиданий будуаров с пеньюарами снизить до простой, черной и совершенно голой женщины. Осмотрев девушку, он убедился в том, что ее устройство не отличается от устройства девушек белого цвета и что достаточно закрыть глаза для того, чтобы не заметить перемены страны, климата и населения. Девушка отчаянно отбивалась и преборно кусала подбородок Ван Эстерпэда, но миллионер, вспомнив различные приемы опытных брюссельских актрис, не удивился этому и даже похвалил ее искусство. Что касается подбородка, то, вспухший, он вполне соответствовал лбу, хранившему следы обезьяньих игр. Когда Ван Эстерпэд, утомленный, собирался покинуть хижину, он заметил, что девушка злобно визжит, точно так, как это делала старуха. Такой способ выражать свои чувства удивил миллионера - голая девушка, прикрытая лишь одним поясом, да и то сделанным из ничего не стоящих листьев, не могла быть особенно дорогой куртизанкой, и посещение Ван Эстерпэда, радующее даже примадонн Брюссельского королевского театра, должно было только польстить ей. Вынув из кармана чековую книжку, он щедро выписал ей чек за № 406186:

"В Бельгийский королевский банк. Выплатите предъявительнице сего черной голой девушке - пятьсот франков". Но листок не успокоил девушку, и Ван Эстерпэду снова пришлось прибегнуть к спортивным приемам. Выйдя из хижины, он присел под пальмой на мох, уже доказавший свое право заменять перины, которые столь искусно взбивал лакей Гастон, и задремал. Проснулся он от чудовищного шума. В шагах пятидесяти от него черные люди били палками в натянутые на шесты звериные шкуры и издавали при этом рыканье, напоминавшее весь зоологический сад в целом.

Для уяснения дальнейших событий необходимо перейти от переживаний неунывающего миллионера к нравам и обычаям черных людей, которые, по совершенно правильной догадке Ван Эстерпэда, принадлежали к неграм, а более точно - к племени гобулу. Как это ни покажется странным, негры племени гобулу, живущие на огромном расстоянии от Брюсселя и других культурных центров, не имеющие ни гостиниц, ни скромного почтового отделения, являлись людьми крайне этическими. Все они, даже крохотный негренок, погибший под туфлями и палкой Ван Эстерпэда, прекрасно знали, что на свете существует добро и зло. Но, не обладая ни трудами отцов церкви, ни

сводами законов, они не знали, как отличить добро от зла и зло от добра. Для этого им служила священная трубка с изображением бога Кабалаша, умевшего различать все вещи, в том числе неразличимое добро и зло. У Кабалаша, как у всех богов, были глаза, уши, нос, рот, но познавал он мир своим огромным разверстым пупом. Познание богом Кабалашем вещей непостижимо мало удовлетворяло людей племени гобулу. Гораздо сильнее радовало их то, что при помощи священной трубки бог Кабалаш передавал им крупицу своей мудрости и помогал определить, что в человеке зло и что добро. Делалось это следующим образом. В трубку, вырезанную из твердого кокосового дерева, вернее, в ту ее часть, которая представляла из себя разверстый пуп бога Кабалаша, вкладывалось несколько зерен конопли. Затем самый благочестивый человек племени гобулу, вождь и судья, подносил к своим толстым губам длинный ствол трубки. Зажигая угольком конопляные зерна, он плавно вдыхал душистый дым. К вождю приводили человека, подлежащего испытанию, и вождь, куря священную трубку, долго глядел на пуп испытуемого. Мало-помалу ясновзорность бога Кабалаша передавалась вождю. Зло и добро, которые пребывают в человеческой душе незримыми песчинками, вырастали в исполинские горы. Если человек сделал злое дело, вождь, глядя на его пуп, видел сначала копошащегося червяка, потом змейку, и, наконец, огромного удава, - такого человека праведные люди племени гобулу убивали и мясо его кидали шакалам. Если человек был добр, вождь видел птицу, овцу и слона, - такому человеку давали барана и пальмовое вино. Так священная трубка помогала людям племени гобулу блюсти справедливость, карать виновных и награждать достойных. Заменяя теологические трактаты и уголовные уложения, она не требовала никаких умственных усилий, превращающих цветущих юношей юридического и богословского факультетов в преждевременных старцев, и вместе с тем не допускала столь частых, увы, судебных ошибок.

Следует отметить, что с точки зрения европейской и так называемой "научной", обычаи племени гобулу легко объяснимы, если вспомнить, что из семени индийской конопли, растущей и в Африке, готовится наркотическое средство, именуемое гашишем. Человек, курящий гашиш или принимающий его внутрь,

воспринимает все зримые вещи, звуки, цветы, запахи, даже отвлеченные понятия в сильно увеличенном виде.

Последнее, впрочем, могло интересовать профессоров Брюссельского университета, но отнюдь не людей племени гобулу, вполне удовлетворенных божественной сущностью пупа Кабалаша. Ударяя палками в натянутые на шесты звериные шкуры и потревожив этим послеобеденный отдых Ван Эстерпэда, они интересовались совершенно другим, а именно - вторжением в поселок белого человека, убившего мальчика, обокравшего и убившего почтенную мать вождя и изнасиловавшего его младшую дочь. Черные люди, ударяя в шкуры, созывали все племя гобулу на совет, как победить белого человека. Было решено, что десять самых искусных охотников на львов, леопардов и носорогов с копьями, дротиками и отравленными стрелами выйдут в лес, сопровождаемые всем племенем.

Охотники тотчас же взяли свои смертоносные орудия и выступили гуськом, причем впереди шел вождь племени гобулу, грозный Канджа, испуская отчаянный утробный гром. За ним рычали, мычали, блеяли, ржали, верещали, ревели и мяукали все люди племени гобулу. Не успели они исполнить первого куплета боевой песни, как навстречу им показался белый человек, щеривший глаза и сладко позевывавший. Грозный Канджа приготовился к страшному поединку и поднял копье. Но Ван Эстерпэд, которому очень понравилась праздничная процессия туземцев, очевидно членов какого-нибудь общества хорового пения, весело улыбаясь, вполне миролюбиво приближался к грозному вождю. Канджа стал выжидать прыжка этого белого зверя. Взглянув на браслет с часами, Ван Эстерпэд увидал, что уже пять часов, и понял, чем вызвано его легкое томление. Потрепав обезумевшего от ужаса Канджу по щеке, он сказал страшному вождю:

- У вас здесь очень, очень мило. Н скажи мне, где бы я мог получить пятичасовой чай с легким кексом?

Оправившись, Канджа схватил белого человека. Подбежавшие смельчаки крепкими жилами лианам связали миллионера и потащили его к хижине вождя. Ван Эстерпэд понял, что происходит нечто неприятное, напоминавшее вчерашний ужин бегемотов, и тихонько запищал:

- Полицию! Позовите полицию!

Конечно, если бегемоты съели электрические клизмы, люди племени гобулу могли бы сразу съесть пленного, но этому помешали их этические предрассудки. Они твердо верили, что всякая пища, входящая в человека, возвышает или унижает его душу. Съесть сердце льва или печень кондора значит приобрести храбрость. Съесть уши зайца или хвост лисы - значит стать трусом. Поэтому люди племени гобулу никогда не ели незнакомых людей, а тела злодеев кидали шакалам, дабы эти гнусные отродья стали еще гнусней.

Не съесть белого человека намеревались идеалистические туземцы, а судить его, то есть с помощью бога Кабалаша узнать, что несет он племени гобулу - добро или зло? Канджа взял трубку и, вложив в пуп зерна конопли, закурил ее. Сразу на его лице обозначилась улыбка удовлетворения божественной мудростью. Другие люди племени гобулу принялись сдирать с Ван Эстерпэда жилет, чтобы обнажить его пуп, ибо именно на пуп должен был смотреть мудрый Канджа. Миллионер, не понимая, почему туземцы так интересуются его животом, решил, что это, очевидно, доктора, и по старой привычке, пока негры, одолевая слишком сложные для них пуговицы, всячески толкали его, зажмурясь, шептал:

- Нет, не болит... и здесь не болит... Все в порядке...

Поглядев на обнаженный пуп белого человека, Канджа ничего не увидел. То есть он увидел то, что видели все: волосатый живот с кружочком, но под ним не было никаких признаков добра или зла. Обеспокоенный столь странным обстоятельством, мудрый Канджа спросил:

- Человек ли это?

Тотчас же люди племени гобулу начали проверять, человек ли Ван Эстерпэд, дергать его за волосы, заглядывать в рот, щекотать под мышками и лизать его нос. Догадливый миллионер сообразил, что это, по всей вероятности, осмотр, и скромно предъявил свой паспорт, карточку избирателя, пароходный билет, даже именное приглашение на завтрак к бельгийскому королю. Но все эти бумажки не удовлетворили черных людей, продолжавших проверять достоверность существования Ван Эстерпэда руками, ногами и языком. Наконец они ответили вождю:

- Да, это человек.

Канджа закурил вторую трубку и снова ничего не увидел, кроме волосатого живота с кружочком. И овладел страхом, он спросил:

- Правда ли, что я, Канджа, живу и курю священную трубку бога Кабалаша?

На этот раз, сразу, не проверяя очевидности ни руками, ни ногами, черные люди ответили:

- Да, ты, мудрый Канджа, живешь и куришь уже вторую трубку бога Кабалаша.

Тогда Канджа закурил третью трубку и впился глазами в пуп Ван Эстерпэда, тщась найти под ним хотя бы маленького червячка зла или крохотного птенчика добра. Но все его усилия были напрасны. В ужасе он отложил священную трубку и воскликнул:

- Бог Кабалаш видит все. Но не все видит бедный Канджа, даже когда он курит трубку бога. Белый человек - не простой человек. Я не знаю, добро ли в нем или зло. Но если в нем добро - оно больше земли, и мои слабые глаза в нем заблудились. А если в нем зло - оно больше воды, и мои слабые глаза утонули в нем.

Так говорил Канджа, ибо мудрый человек знает, что вечером не солнце умирает, а слепнут глаза; он равно славит бога Кабалаша днем, когда различает далекие облака на небесах, и ночью, когда не может различить даже блох на своей собственной груди.

Люди племени гобулу благоговейно выслушали слова Канджи и опустили на корточки, чтобы хорошенько подумать о них. Подумав, они сказали Кандже:

- Если Канджа не может увидеть белого человека, может быть, белый человек может увидеть Канджу.

Ван Эстерпэду подали священную трубку. Сначала он вежливо отказался, так как курил только легкие египетские сигареты. Но черные люди были упрямы, и, вспомнив о различных неприятных жестах, которыми они сопровождают свои слова, Ван Эстерпэд предпочел взять в зубы ствол трубки. Тотчас же он испытал сладость, неизвестную ему доселе, и нежно улыбнулся. Глаза его закрылись, потом снова раскрылись шире обычного, и миллионер стал глядеть на пупы людей и вещей. Прежде всего он увидел пальмы, более высокие, нежели все его дома в Брюсселе. Затем он поглядел на пуп озера и забыл о всех принятых им в жизни ваннах. Он взглянул на птицу, и в памяти замолкли все джазы, все теноры, все арфы, тысячи театров,

кафе, гостиниц. Закончив этот предварительный осмотр, Ван Эстерпэд, безмерно потрясенный, стал рассматривать людей племени гобулу.

Через пуп черной женщины он познал необычайную любовь, о которой никогда не слышал в Брюсселе, он увидел, как эта женщина теплыми руками схватила ядовитую змею, хотевшую укусить черного человека, которого она любила, чужого человека, чужого мужа; он увидел, как два мужа, свой и чужой, били эту женщину крепкими лианами, но любовь не выходила из нее.

Глядя на пуп старика, он увидел великое мужество: этот дряхлый человек, спасая черного ребенка, прыгнул на разъяренного носорога и маленьким дротиком просверлили ему мозг.

Другие пупы на животах юных и старых, мужских и женских открыли ему все, чем жив человек: страсть, нежность, ненависть, благородство, предательство, ревность, сластолюбие, страх, скорбь. Миллионер понял, что теперь он воистину родился и увидел мир. От радости он стал плясать, прыгать, визжать и реветь. Вокруг него, упоенные прыжками и рывканьем белого человека, пели и плясали черные люди племени гобулу. Ван Эстерпэд чувствовал, что ему не хочется больше ни пятичасового чая с кексом, ни пеньюаров в будуарах, что он не станет искать почтового отделения, дабы выписать себе пароход, доктора и чемоданы. Он скинул с себя в детском веселье все свои сложные одежды: шляпу, пальто, пиджак, жилет, брюки, подтяжки, воротничок, галстук, рубашки верхнюю и нижнюю, кальсоны, туфли, носки, подвязки и много иное, а скинув все, нежно-розовый, с гусиной кожей, но с высшей благодатью, катался в густой траве, фыркал и целовал все пупы, научившие его радости бытия.

Черные люди захотели, чтобы белый человек, закурив вторую трубку, взглянул на Канджу, и Ван Эстерпэд увидел целое стадо гадюк, кокетливо высовывающих свои язычки. Канджа был мудр и зол. Убив много невинных, он стал вождем племени гобулу. Ван Эстерпэд закрыл лицо рукой, глубоко вздыхая. Черные люди поняли, что белый человек увидел в Кандже зло, и, будучи людьми праведными, они убили Канджу, а тело его бросили шакалам.

Шакалы ели мясо Канджи, люди же племени гобулу ничего не ели, поэтому они были сильно голодны. Присев снова на корточки,

они задумались, и тогда самому мудрому, а может быть и самому голодному, пришла счастливая идея:

- Белый человек - святой человек. Если мы съедим его мясо, его сердце и его печень, мы тоже станем святыми.

Будучи счастливой, эта идея была разумеется одобрена, и бедного Ван Эстерпэда, подобного розовому новорожденному младенцу, ибо он всего полчаса тому назад увидел мир, за сорок предшествующих лет не заметил ничего, кроме тарелок и перин, нежного, весело кувыркавшегося в траве, черные люди племени гобулу съели, съели в надежде стать святыми, а также чувствуя сильный голод, съели, как съели бегемоты накануне его бедных товарищей.

Но черные люди были жестоко наказаны: человек должен быть осторожнее бегемота. Они забыли, что белый человек, куря священную трубку бога Кабалаша, не мог взглянуть на свой собственный пуп. А если б он мог взглянуть, то ничего бы под ним не увидел, как ничего не увидел съеденный шакалами мудрый Канджа. Они съели тощие ягоды белого человека, и через эту пищу в их души вошло ничтожество. От них ушли навеки и любовь и ненависть, храбрость и нежность. Черные люди племени гобулу стали ленивыми, сонными, подобными сытым бегемотам, дремлющим в речной тине.

Не удивительно, что военная экспедиция, посланная на розыски исчезнувших пяти миллионеров и трех кандидатов в миллионеры, легко завладела селением племени гобулу, убила мужчин, обесчестила женщин, увезла с собой в Брюссель маленького негритенка, молодого бегемота, который, все еще переваривая электрическую клизму, не мог сдвинуться с места, и священную трубку бога Кабалаша.

Маленький негр стал грумом в ночном кабаре "Фи-Фи"; бегемота отдали в зоологический сад, а священная трубка попала к антиквару на улице д'Ор. Там я отыскал ее среди дамских панталон эпохи Директории и ночных туфель бухарского эмира.

Я никогда не курю ее. Вокруг меня нет ни пальм, ни реки, ни певчих птиц, ни черных людей племени гобулу, ни других достойных вещей, и я боюсь очутиться в положении мудрого Канджи, потерять ощущение реальности бытия, столь необходимое каждому человеку.

#### Десятая трубка

Люди очень наивные и очень самоуверенные полагают, что человек является господином вещи, что он может купить ее, подарить,

продать или выбросить. Это суждение, разумеется, давно опровергнуто ворохами фактов. Человек всецело подчинен различным вещам, начиная от своей рубашки, той самой, что ближе к телу, и кончая золотом Калифорнии или нефтью Ирака. История различных войн - это томление вещей, выбирающих себе резиденцию, придворных и слуг. То, что возле Салоник в 1916 году умерли многие индийцы, относится главным образом к свойствам характера лотарингской руды. Хроника уголовных преступлений отнюдь не приключения каких-либо особых людей, а просто биография беспокойных вещей, предпочтительно женского обихода. Этому господству вещей равно подчинены люди великие и малые. Шинель, сшитая по особому заказу покойного Акакия Акакиевича, жила жизнью не менее патетической и бурной, нежели тога Цезаря.

Самое страшное в явном господстве вещей над людьми - это отсутствие точной науки, которая заранее указывала бы нам на потенциальные силы, скрытые в том или ином предмете. Может быть, моя книга с достоверными данными о жизни тринадцати трубок, владевших, не считая меня, тридцатью пятью людьми различных национальностей, наведет какого-нибудь молодого ученого на мысль о необходимости приступить к серьезным исследованиям психологии вещи. Для начала я предлагаю ему заняться небольшой кустарной трубкой, полученной мной при странных обстоятельствах, о которых речь будет впереди. Трубка эта сделана из простой сосны, не покрашена, хотя бы ради приличия, состоит из маленького бочонка, в который воткнута палка, и могла быть названа трубкой лишь в эпоху величайших иллюзий, когда люди принимали брусничный отвар за чай, капустные листья за табак, а мои книги за изящную словесность. Но вещь, состоявшая из бочонка и палки, хотела быть трубкой, и трубкой стала. Я расскажу о некоторых происшествиях, тесно связанных с ее жизнью, но должен заранее предупредить и молодого ученого, и любопытствующих обозревателей, что это лишь отдельные листочки летописи, разбросанной ветром.

В Киеве, на Мариинско-Благовещенской улице, в доме номер тридцать три, жил преподаватель истории Никита Галактионович Волячка. Жил отменно, тихо, и никаких примет за ним не числилось, кроме разве одной, - Никита Галактионович любил вечером, отнюдь

не занимаясь письменными работами, неожиданно крикнуть своей жене Агафии Ивановне:

- Гапка, душа моя, прошу клякс-папиру!

Но подобные казусы случаются со многими, и на них не стоит останавливаться. Настала революция. Ученики Никиты Галактионовича предпочли историю не изучать, а творить, и безработный преподаватель, после длительных неурядиц, весной 1919 года, когда в Киеве утвердилась советская власть, стал сотрудником губзема по части животноводства. Был он сотрудник как сотрудник, умел составлять проекты, и никакие "комиссии по чистке" его не трогали. Опять-таки было маленькое недоразумение - Никита Галактионович однажды отправил на племенной завод молодого элегантного вола, но и это не бог весть какой грех, особенно если вспомнить, что до 1919 года он занимался историей человечества, а не размножением скотов, лишенных чувств истории.

Настал дождливый день - 18 июня. Утром в отделе объявили, что прибыла партия "предметов широкого потребления" - кошельков, расчесок, подвязок и прочего, - всего девять названий и сорок две штуки на восемьдесят семь служащих. Одни предлагали вещи разломать, другие - протестовать письменно, третьи - пользоваться поочередно. Но мудрый секретарь, тов. Кравец, изобрел лотерею-аллегри, и десять минут спустя Волячка, икая от томления, запустил свою тощую гусиную руку в папаху курьера. Кругом раздались завистливые крики: Волячка выиграл - на кусочке бумаги явственно значилось "11". Погладив свои жидкие волосики, он помечтал о расческе. Но под номером 11 лежала белая курительная трубка. Это было несколько непонятным, так как Никита Галактионович отроду не курил, и товарищи тотчас предложили ему меняться, но Волячка обиделся, нежно пощелкал трубку, а завистникам крикнул в злобе:

- Прошу клякс-папиру... вот как!..

Лотерея давно закончилась, а два события все еще продолжали волновать сотрудников. Первое: секретарь тов. Кравец, одинокий холостяк, выиграл дамские подвязки. Как я говорил, это произошло 18 июля, а 21-го, то есть ровно через три дня, тов. Кравец отправился в отдел записи гражданских актов третьего комкома с молодой регистраторшей тов. Шель, и всех сотрудников секции по случаю торжества угостил простоквашей. Конечно, довольствующиеся

общими местами могли бы сослаться на любовь и на прочие тривиальности, но сотрудники были людьми серьезными и вдумчивыми. Они хорошо знали, что такое "предмет широкого потребления", и, кушая простоквашу, благодарно вспоминали пару розовых подвязок, лежавших под номером 34. Вторым событием, занимавшим сотрудников, являлось чудодейственное перерождение Волячки. В течении трех дней Волячка совершил ровным счетом три злодеяния: во вторник стащил сахарный песок - целый фунт, паек за месяц тов. Кравеца, в среду, заявив, что ягнятам необходимо срочно размножаться, выпросил у зава тысячу рублей подотчетных, а в четверг вовсе не явился на работу. Тов. Кравец, ввиду своих семейных радостей, к тому же совершенно непредвиденных, простивший Волячке даже фунт сахарного песку, был потрясен, увидев в четверг животновода на Бессарабке, откровенно менявшего сахар Кравеца на табак. Получив от солдат целый фунт махорки, Волячка не удовлетворился, вынул тысячу, принадлежавшую еще не размножившимся ягнятам, и стал торговать другой табак - легкий, высшего сорта. На Кравеца он не обратил никакого внимания, а когда секретарь припугнул его соответствующими разоблачениями, взял трубку в рот и прорычал:

- Вы знаете, на кого я похож?

Кравец, махнув рукой, отправился к розовым подвязкам.

С тех пор Никиту Галактионовича не спрашивали ни: "Как ваше?", ни: "Как Агафья Ивановна?", но только: "Как она?" Он отвечал: "Благодарствую соответствует". Кравец теперь жил для жены - добывал ей ботинки, рис, ввиду деликатности пищевода, пудру; старый агроном Власьев служил своей печурке, таскал проекты Волячки и даже табуреты на растопку: хотя было лето, Власьев предчувствовал холода и заранее обхаживал печку. А Никита Галактионович знал только трубку, и Агафья Ивановна, как овдовев, вечерами печалилась:

- Ты хоть бы о кляксе попросил...

Но Волячка курил трубку и был непреклонен.

В августе Киев обложили белые. Агафья Ивановна сожгла проекты, размножавшие ягнят и волов, кульки от паечного пшена и потребовала также казни трубки:

- Увидят сразу, что большевицкая... Хоть белая, а дух от нее такой идет...

Но Волячка, услышав это, взбесился и запел сначала "Интернационал", а потом уже вовсе необъяснимое, и лишь ночью, сжалившись, пояснил недоумевающей жене:

- Подобно курантам...

- Агафья Ивановна была права - трубка накликала беду. Как-то под вечер пришел казак, пощекотал Волячкину супругу и рявкнул:

- Коммунисты!..

После чего он начал собирать вещи давнего, романовского периода, когда Волячка был еще преподавателем истории, как-то: будильник, наперсток, ночной чепчик. Агафья Ивановна громко причитала, но Никита Галактионович стоял безмолвно, скрестив руки на груди, подобный монументу. Уходя, казак заметил трубку и вытащил ее из зубов Волячки.

- Это вещь военная, тебе нечего баловаться... Можешь из пула дым пущать...

- Казак ушел с трубкой. Но за ним рысью побежал Никита Галактионович. В ночной темноте казался он маленьким жеребенком, сопровождавшим огромную кобылу. В одной из пустынных улочек Печерска Волячка взял кирпич, подпрыгнул высоко, ибо росту был неуважительно малого, и ударил казака по голове. Кирпич распался, но вместе с ним и голова похитителя, а Волячка с трубкой затрусил дальше. Домой идти он не решился и вышел на окраину города. Пошел полем. Шел долго, повинуюсь, очевидно, трубке, шел дни и ночи, дошел до лесов под Почепом, в Черниговской губернии, и там остановился. Крестьяне давали ему хлеба, курил же он сухие листья. Через месяц пришли красные. Волячку чествовали - продефилировал целый полк с оркестром. Он стоял величественно, с трубкой и пришепетывал:

- Ранг блюсти. Раз-два!..

Засим, отнюдь не по своей воле, но ввиду отмеченной выше военной доблести Волячка проследовал с полком на петлюровский фронт. По дороге какие-то жупаны обстреляли эшелон. Два армейца были легко ранены, а Волячка умер от непонятной контузии. Ветеринар и коновал, товарищ Сшиб, объяснил это сотрясением воздуха. Волячка остался мертвый в овраге, а через три часа воскрес,

достал из кармана трубку и, припрыгивая, побежал по дороге. Увидев большую лужу, Никита Галактионович лег на живот и загляделся. Перед ним было крохотное, с кулачок, личико, безбровое, вообще бесстыдно голое, глаза цвета снятого молока, бородавка, грязный воротничок и, наконец, трубка. Волячка осмотром остался доволен и подумал: "До чего похож!.."

Потом он зачерпнул штиблетом воду из лужи, плотнул, сплюнул, ибо вода была густая от рыжей глины, взглянул на запад, где должны были находиться низменные жупаны, убившие его, и торжественно возгласил:

- За шведов!

Я не знаю, что сделал Никита Галактионович после этого загадочного тоста, и вообще его дальнейшая жизнь мне известна лишь по отдельным патетическим эпизодам. Вскоре после перестрелки с петлюровцами Волячка прибыл в село Гвоздилово, Бобровского уезда, Воронежской губернии. Встретив на околице попа, он в ярости зачерпнул его библейскую бороду и начал вопить:

- Двухперстным, контр, орудуешь?

Поп выдавший виды, мигом осознал ситуацию.

- Ни двух, ни трех, но пятиконечной.

За что был пощажен. С короткой дубиной Волячка ходил из двора во двор. Дубинкой бил предпочтительно по голове и поучал, как надо на австралийский лад размножать волов. Председатель совета, он же бывший староста, лукавец Пантелей, попросил Волячку зайти в сельскую читальню и там, медово улыбаясь, заинтересовался его полномочиями. Никита Галактионович вынул большущий лист, на котором в порядке пребывания серп и молот, Пантелей прочел:

- "Мандат сей дан..."

Но чем дальше он читал, тем сильнее дрожала его хитрая рыжая борода. Дочитав же до конца, он поклонился Волячке в пояс.

- Прости нас, батюшка!

Еще раз поклонился и еще раз попросил прощенья, а потом, ловко нацелившись, сшиб Никиту Галактионовича с ног и стал его дубасить кубом для кипяченой воды, стоявшим издавна в читальне и впервые нашедшим себе применение. Волячку выволокли в поле. Когда стемнело, он приподнялся, случайно оказавшимся в кармане

английским пластырем облепил себе голову и пошел неизвестно куда, бормоча:

- Когда всурьез помру, восплачут "сыны отечества". Никакой трудовой дисциплины! Размножение с помощью коров и трехпольная система...

Дальнейшие вести и Никите Галактионовиче были получены его супругой Агафьей Ивановной в виде официальной бумаги о разводе. Бедная женщина, ничего не соображая, побежала к швейцару Игнату, секретарю домкома, дома под номером тридцать три. Игнат прочел извещение и, будучи в канцелярских процедурах искусственным, заявил Агафье Ивановне:

- Совершеннейший развод, а от вас испрашивает бумагу о непротиводействии.

Агафья Ивановна расплакалась.

- Может, он клякс-папиру хочет?..

Когда происходил этот трагический диалог, сам Волячка находился далеко от родного дома, а именно в городе Пензе, у старой девы Эммы Мюллер. Эта особа родом из Митава в течении двадцати семи лет была экономкой в доме предводителя дворянства. Когда же не стало ни дворянства, ни, следовательно, его предводителей, Эмма переселилась ко вдове Аглагантовой и жила продажей различных вещей, вплоть до золотой коронки своего собственного зуба. Как к ней попал Волячка, неизвестно, но, войдя в комнату, он вежливо попросил вдову Аглагантову удалиться и, став на колени, промолвил:

- Сватаюсь.

Эмма подумала было, что Волячка насмехается над ней, и хотела позвать вдову Аглагантову. Но Никита Галактионович шепнул ей на ухо нечто совершенно непостижимое, от чего немка, пикнув, свалилась на взбитые подушки вдовы Аглагантовой. После пятидесяти лет бесплодных ожиданий, в течение которых не только на руку, но даже на безусловную невинность Эммы никто не покушался, найти такого жениха было воистину чудом.

- Смотри, роди сына, деловито добавил Волячка.

Засохшая грудь Эммы вздрогнула от новых, неведомых чувств. Она была безмерно счастлива. Ее только несколько смущало, что жених не целует ее, хотя бы по-братски, и не говорит ей соответствующих положению нежных слов. Не пустив в комнату

вдову Аглагантову, Эмма уложила Никиту Галактионовича на хозяйскую кровать. Он лег не раздеваясь, с трубкой в зубах, с короткой дубинкой в руке и стал глядеть на потолок неморгающими глазами цвета снятого молока. Эмма не выдержала.

- Приласкай же меня!

Тогда Волячка, занятый высокими и ответственными мыслями, напряг все свои силы, чтобы вспомнить, как люди ласкают друг друга, а вспомнив, крикнул столь громко, что в соседней комнате вдова Аглагантова перекрестилась.

- Катька, душа моя, прошу клякс-папиру!..

Услышав эти несуразные слова, Эмма решила, что жених издевается над нею. Чужое имя и какой-то "клякс-папир" явно не соответствовали рангу гостя. Конечно, перед нею был самозванец. Эмме стало смертельно обидно, что она могла на час поверить проискам проходимца и отдать ему первый трепет своего девственного сердца. Со стоном она выбежала ко вдове Аглагантовой, которая в соседней комнате гладила накидки для смятых гостем подушек. Эмма выхватила из ее рук утюг, и, не помня себя от стыда и злобы, несколько раз раскаленным утюгом проутюжила лицо Волячки. Самозванец больше не дышал. Боясь ареста и казни, Эмма Мюллер со вдовой Аглагантовой убежали в летний сад, где и спрятались под киоском. Никита Галактионович все еще глядел на потолок глазами цвета снятого молока. Ему было очень больно, и лицо его горело. Он тяжело вздохнул:

- Горьчее власти опалает любовь...

Приложив к пылающему носу картошку, он вышел на улицу.

Это курьезное происшествие было в мае месяце 1920 года, а в июле Волячка объявился в городе Уфе. Впоследствии утверждали, что он прибыл туда в качестве инструктора по профессиональному образованию и в первый же день, увлекшись рубанком, отстругал непомерно большое, явно дегенеративное правое ухо мукомола Чукчина. Правда ли это или выдумка досужих сплетниц - не знаю. Как бы то ни было, до 17 июля никакие предержавшие Волячкой не интересовались. В указанный день назначена была вечеринка всех местных комячек по случаю присоединения к Коминтерну отколовшейся группы PSP (Социалистической партии Парагвая).

Вечеринка состоялась в помещении городского театра и протекла достаточно оживленно. Когда все ораторы произнесли соответствующие речи, настала часть неофициальная, и как члены, так и гости предались веселью. Оркестр исполнил похоронный марш и "Молитву Валентина". Было угощение: кофе и хлеб, по восьмушке на человека. Часов в одиннадцать, когда празднество близилось к концу, на сцену вышел некий субъект, сильно испачканный гримом, в spodниках и в мундире городничего. На голове его была маленькая самодельная лодочка. Полагая, что это один из артистов, соблазненный восьмушкой и решивший подхалтурить, все приготовились к восприятию монолога. Но актер, сойдя со сцены, воскликнул:

- Размножайтесь, ячейки, с помощью ягнят! - Потом схватил большой жестяной чайник, доверху полный рыжей бурдой, именуемой советским кофе, и закричал почтенному товарищу Рабе, хранителю архива:

Веселись, буржуй боярский! Я тебя перетряхну, теремовая гидра!

От неожиданности товарищ Рабе присел на корточки. Тогда наглец, приставив носик чайника к губам товарища Рабе, стал с непомерной быстротой вливать бурду в рот хранителя архива, приговаривая:

- Еще штоф, и веселья преисполнись!..

Товарищ Рабе захлебнулся, а преступника увели чекисты. После тщательной проверки он оказался сотрудником киевского губзема Никитой Галактионовичем Волячкой. В Чека пахло селедкой, и Волячку мучила жажда. Часа в три утра он почувствовал ожог на груди под левым соском и сильный зуд. Он лежал у стенки, весь в крови. Потом труп свалили на телегу вместе с другими трупами и повезли в город. Кто поймет, какие страсти испытывал несчастный Никита Галактионович, покачиваясь на телеге, среди холодных трупов, предчувствуя яму и червей? Ведь он до сорока двух лет был отнюдь не героем, а тишайшим человеком, преподавателем истории в третьей казенной гимназии, нежным супругом Агафьи Ивановны. Но в кармане его брюк лежала трубка, замаранная свежей кровью, и трубка не позволяла Волячке ни смириться, ни умереть.

По случаю жаркого утра солдаты трупов не зарыли, а кинули прямо в яму. Волячка оказался внизу. Он очень страдал и даже плакал,

и его слезы текли на окоченевшие трупы, уже неспособные чувствовать жар человеческих слез. В полдень Никита Галактионович выкарабкался наверх и пополз в лес.

Исчезновение трупа, конечно, никого не заинтересовать не могло. В Уфе об испорченной вечеринке все позабыли, а не прошло и месяца, как Агафья Ивановна, приготовляясь ко сну и расчесывая свои пегие волосы, вскрикнула и упала без чувств. Перед ней стоял на детских ходулях пропавший муж, который еще недавно требовал какой-то бумаги о непротиводействии. Опомнилась она от сильной боли: Никита Галактионович схватил маленькие кривые ножницы, употребляемые Агафьей Ивановной для маникюра, ибо с горя она занялась маникюром, точкой безопасных бритв и разведением кресс-салата, и, посвистывая ножницами, как опытный парикмахер, тщился обкорнать волосы супруги.

- Постригу! Интригуешь с меньшевиками, крыса монастырская!

Но, отрезав одну пегую прядь, Никита Галактионович, очевидно чем-то чрезмерно утомленный, потерял равновесие, соскользнул с ходулей и задремал. Величайшая нежность переполнила сердце Агафьи Ивановны. Она перенесла мужа на кровать, раздела его и принялась тихо плакать - все тело Волячки было покрыто синяками, рубцами ран и язвами. Никита Галактионович дрожал от холода - домой он пришел в рубищах. Агафья Ивановна облекла его в свое теплое зимнее платье, повязав лысую голову оренбургским платком. Волячка не сопротивлялся. Он нежно мурлыкал, пока жена одевала его и натирала грудь, напомиравшую решето, гусиным салом. Даже у самых испытанных героев бывают минуты слабости. Мудрено ли, что Волячка, попав на супружеское ложе, где в течение многих лет знал золотое бездумное счастье, расчувствовался и покорился? Агафья Ивановна легла рядом, согревая его своей неубывающей, несмотря на продовольственный кризис и бумагу о разводе, шестипудовой добротностью. Засыпая, она слышала райский голос - это, как в давние дни романовского периода, Никита Галактионович, нежно прижимаясь к супруге, попискивал:

- Гапка, душа моя, прошу клякс-папиру...

Проснувшись под утро, Агафья Ивановна от ужаса упала с кровати. Рядом никого не было. Ее рука сжимала теплое платье, а на подушке хитро подмигивал ушками оренбургский платок, еще

хранивший форму человеческой головы. Только собственная плешь Агафьи Ивановны являлась признаком того, что не привидение явилось к ней вчера вечером, - привидения стрижкой волос не занимаются, - а сам Никита Галактионович во плоти, на ходулях, с проклятой трубкой.

Следующего появления Никиты Галактионовича удостоились члены академической комиссии по украшению Петербурга к октябрьским торжествам. Заседание комиссии происходило в большом зале дворца. Членов было восемь, они пили яблочный чай и спорили, так как четверо из них были "футуристами", а четверо "реалистами". Первые предлагали поставить в Летнем саду оранжевые кубы величиной с Нью-Йорк, вторые - нарисовать на стенах Адмиралтейства березу, поющих соловьев и грусть героя.

Споря, они все время голосовали резолюции, но голоса неизбежно делились пополам, и от этого, а также от яблочного чая, члены комиссии сильно потели.

Стоявший у стены Волячка, никем не замеченный, был удовлетворен и шептал:

- Рьяность и ревность! Прекрасный красный Петербург!

Когда же, проголосовав в тридцатый раз одну и ту же резолюцию и, как в первый раз, расколовшись пополам, члены комиссии решили заседание закрыть, Волячка не вытерпел. Он выскочил на председательское место и заговорил. Увидев его, все члены обомлели - действительно, Волячка был страшен: в рваном белье, на детских ходулях, с явно приклеенными к дряблomu личику грозными черными усищами, дымивший прожженной трубкой. Говорил он восторженно и безумно:

- За украшение города согласен на дыбу... Навек отрекаюсь от пайков... Опомнитесь члены...Мое детище... попрыганы и шведы и Юденич... преуспевая... А я все претерплю... Бит староверами, железом обожжен, пулей коварной прострелен - служу изо всех сил... Прибуду с женой Каткой... Молю вас об усердии!

И, показывая на один из старых портретов, висевших над столом, Волячка, строго топнул ходулей. Опомнившись, все члены комиссии - и футуристы и реалисты - единогласно заверещали:

- Сумасшедший!

И самый молодой, футурист Чик, поймал Волячку. Но Никита Галактионович лягнул футуриста и быстро улизнул. В руке Чика остался пучок конских волос, служивший Волячке грозным усом.

А Волячка носился по любимому Санкт-Петербургу и разыскивал синдетикон, именно синдетикон, а не гуммиарабик.

Вечером я встретил Чика, и он рассказал мне о забавном заседании академической комиссии. Сам не зная почему, я сильно взволновался и ночью плохо спал. Рано проснувшись, я побрел по пустынным улицам. На площадях желтела трава. Заштатная столица была величественна и прекрасна. Я направился по проторенной всеми российскими пиитами дороге проверить, не случилось ли чего-нибудь особенного с нашим традиционным благодетелем. Надо признать, что я ужасно завидовал Александру Сергеевичу Пушкину, увидавшему, как всадник скакал по улицам, и не менее его Владимиру Владимировичу Маяковскому, подсмотревшему всех трех, то есть всадника, лошадку и змею за табльдотом в гостинице "Астория".

На этот раз я был вознагражден. Император Петр Первый курил трубку, а под ней валялся голый Волячка с одним приклеенным усом. Трубка достигла своей цели, и Волячка был действительно мертв.

Да, Волячка был мертв, но я, еще живой, недаром плохо спал, встал чуть свет и приплелся к памятнику. Этого хотела трубка. Не смея нарушить ее воли, я, понатужась, влез на статую Петра, взял трубку и, пренебрегая как державностью моего предшественника, так и мерзким вкусом синдетикона, закурил ее. С тех пор я ее курю не очень часто и не очень редко, в минуты, которые я назову историческими. Думаю, что и меня она ведет к некоей таинственной цели. Но так же, как Никита Галактионович Волячка, выиграв на лотерею-аллегри под № 11 кустарную трубку, не знал, что он через полтора года умрет у подножья знаменитого монумента, так и я не знаю, что мне еще предстоит. Об этом сможет написать довольно забавный рассказ какой-нибудь из более или менее одаренных потомков.

#### Одиннадцатая трубка

Во всякой вещи должно быть нечто определенное; а вот эта пенковая трубка какой-то сплошной вопросительный знак. Не мудрено, что, вместо того чтобы улаживать досуги отставного прусского фельдфебеля, она перекочевала в страну

неопределенностей, именованную "Российской империей", и пошла мутить без того замутненные души. Судите сами: яйцо, неизвестно даже какое - пасхальное или в другом роде. Яйцо вообще располагает к туманностям: из него может вылупиться петух, может вылупиться курица, а может и ничего не вылупиться. Яйцо пребывает в ручке, как будто дамской, но украшенной манжетой. Спрашивается - почему дама пользуется манжетами? Почему она носит с яйцом? Почему курильщик должен фаршировать яйцо не рубленным луком, а табаком, и прикладываться к сомнительной ручке? И вообще, кому все это понадобилось?

Ясно, что только Жоржик Кевале мог откопать подобную пакость. Станный был человек, - о нем говорили, что он певец, тенор, но никто никогда не то что пеня, даже обыкновенного слова от Жоржика не слышал. Только изредка подымался из его живота мышинный писк, которому сам Жоржик дивился, чувствуя, что это не он пищит, а кто-то посторонний. Приходя в гости, Жоржик терял самые неожиданные предметы: дамский чулок, сырую котлетку, губную гармонику и прочее, за что был нежно любим детьми. Каждое лето Жоржик ездил в Германию на воды. Свойство этих целебных вод он не различал, но любил, чтоб они были потухлее на вкус. Иногда, после леченья, он невероятно толстел, так что лопался его вязанный жилет, обнажая девичью рубашку с розовым бантиком, иногда терял пуд, и тогда у него под мышками явно обозначались какие-то углы и пружины.

В 1901 году Жоржик случайно попал в специальный дамский курорт, соблазнившийся особой тухлостью его источников. Не желая лодырничать, Жоржик стал лечиться от женских болезней. Его глаза быстро приобрели таинственный отсвет вечной женственности. Закончив леченье, Жоржик приступил к закупке различных подарков для своих друзей. Каждую осень он привозил друзьям чихательный порошок, бронзовых собачек, проделывающих все, что полагается, резиновые конфеты и тому подобные сувениры. Увидав в окне аптекарского магазина пенковую трубку неопределенной формы, Жоржик сразу понял, что она предназначена именно для его друга Валентина Аполлоновича Кискина, мужа храброго, воли непреклонной, как бы взятого из античной мифологии.

Вскоре после своего возвращения в Россию Жоржик явился в имение Валентина Аполлоновича Лирова, преподнес трубку в

футляре, обронил живую черепаху, разок пикнул и скрылся.

Валентина Аполлоновича равно смутили и яйцо и рука. Вероятно, он не закурил бы трубку и человечество было бы избавлено от многих бед, если бы не коварное вмешательство его мечтательной супруги Асеньки:

- Какая изящная! Это не то что твой корявый чубук! Ты только посмотри на ручку - прямо скульптура!..

Валентин Аполлонович хотел было возразить, - "А чья она, собственно говоря, рука эта, то есть какого пола?" - но промолчал и, соблазненный речами супруги, трубку закурил.

Через месяц яйцо посмуглело, а характер Валентина Аполлоновича резко изменился. Он совершенно изменился. Он совершенно забросил карты, верховую езду и агрономические трактаты. Приказав достать с чердака старые пяльцы, он целыми днями вышивал анютины глазки по палевому полю, а вечерами читал "Бедную Лизу" и так выразительно вздыхал при этом, что прислуга, проходившая мимо дверей, суеверно крестилась. Напрасно Асенька не гасила за полночь свечи, поджидая своего мужа. Валентин Аполлонович, при всем обширном телосложении, спал теперь в тесном мезонине, на узенькой девичьей кровати.

Как-то, сидя в сумерки у окошка и с томной негой взирая на перистые облака, Валентин Аполлонович признался горничной Луше, накрывавшей стол к ужину:

- Хорошо бы теперь о женишке погадать.

Отчего Луша немедленно выронила на пол все тарелки.

Перемену, происходившую в Валентине Аполлоновиче, замечали все. Приехавшая из города тетка Асеньки, госпожа Упрова, спиритка и возвышенная натура, сказала племяннице:

- Мне кажется, что в твоего мужа вселилась новая душа. Он стал похожим на тургеневскую девушку.

А ключница Настя, глядя, как барин кушает монпасье и вздыхает, говорила Луше:

- Добрый какой стал, все жует и стонет, будто мерин...

Через год монпасье окончательно заменило Валентину Аполлоновичу куренье, и трубка, успешно поработавши, на пятнадцать лет уснула в зеленом бархате футляра. Зато комнаты лировского дома оживились писком нового существа, как будто в них

поселился Жоржик Кевале, - у Асеньки родилась дочь. Узнав о радостном событии, Валентин Аполлонович несколько удивился, но вскоре сообразил, что иные плоды созревают в диком лесу безо всяких человеческих усилий. Он только попросил супругу:

- Назовем ее Евгенией. Евгения - это Виргиния. Я верю, что когда-нибудь приедет Поль... приедет и к ней, и ко мне...

После этого, как я уже сказал, трубка пятнадцать лет находилась без работы, и люди как в Лирове, так и в других местах, ничего неопределенного не испытывали, за исключением, пожалуй, купчих, посещавших спектакли Метерлинка, и молодых снобов, выпивавших чересчур много дамского ликера крем-де-какао.

К началу следующего действия, разыгравшегося летом 1917 года, положение в Лирове было таково: Валентин Аполлонович вышивал бисером туфли, Асенька смотрела за имением, днем принимая управляющего с докладом и отдавая ему ночью, а пятнадцатилетняя Женя покорно трудилась над родами во французской грамматике, путая неизменно "а" и "е". Внешние события потревожили этот трогательный семейный уют. Люди низшего сословия потеряли всякое уважение к людям сословия высшего, и Настя, слушая, как трогательно вздыхает Валентин Аполлонович над "Бедной Лизой", теперь выражался более определенно:

- И когда этот мерин сдохнет!..

В сентябрьский ясный день какие-то бандиты прискакали в Лирово. Валентину Аполлоновичу, жившему в романтической атмосфере начала прошлого столетия, пришла гениальная мысль. Он обратился к Жене, тщетно бившейся над выяснением рода слова "отец", ибо "ле пэр" и "ла пэр" для нее звучали одинаково веско, со следующим предложением:

- Женя, оденься мальчишкой, скажи им, что ты тоже бандит и что ты здесь взял все дочиста.

Девушке очень понравился неожиданный маскарад. Через пять минут она любовалась собой в штанах и гимнастерке внука Насти. Для вящей убедительности она взяла со стола трубку, закурила и бойко выскочила на крыльцо.

- Вы откуда, товарищ, будете? - спросил ее рябой солдатик, державший закусочный сервиз, реквизированный в соседнем имении, и теперь резонно искавший закуску.

- Мы-то? Мы с севера, тульские, - ответила Женя.

Опасность была предотвращена, и девушка могла бы спокойно вернуться к своим грамматическим упражнениям, но, очевидно, ей это мало улыбалось, она предпочла, дымя трубкой, отправиться вместе с рябым "товарышем", верхом на беговых рысаках, в гости к сенатору Тишемышеву добывать закуску. Пригрозив Тишемышеву пулеметом, Женя приказала подать соответствующее, выпила рюмку тминной, крякнула и понюхала корку хлеба. Сын Тишемышева, правовед, все время, пока длился ужин, стоял у стены в позе летучей мыши, заслоняя рукавами портреты своего деда и бабки в кружевах, которые могли ввести гостей в излишний соблазн. Кроме того, спасая честь рода и желая смягчить сердца пришельцев, он исполнял на расческе различные революционные арии.

Основательно закусив, Женя икнула, щелкнула сенатора по носу, обругала его всякими мной из стыдливости не повторяемыми словами и грозно закончила:

- Ты у меня раком засигаешь, грыжа полосатая!

У правоведа же она потребовала наусники, как вещь ей совершенно необходимую, и выдала расписку:

"Одну пару наусников получил сполна Женя Кискина".

После чего, братски поцеловавшись с "товарышем" и дымя трубкой, она возвратилась в отчий дом.

Результаты визита Жени в имение Тишемышева были самые неожиданные. Если сенатор слег от гастрического заболевания, - это, конечно, в порядке вещей. Гораздо труднее понять поведение его сына. Правовед, прочитав несколько раз оставленную Жней расписку и выпив бутылку валерьяновых капель, сообразил наконец, что солдат, грозивший пулеметом, был не кто иной, как дочь соседа Кискина. А сообразив это, он почувствовал прилив знакомых ему доселе чувств, надел парадный мундир и отправился в Лирово. Поцеловав по рассеянности пухлые пальчики Валентина Аполлоновича, он сразу приступил к делу и попросил у Асеньки руку ее дочери Евгении Валентиновны. Асенька, сложив в уме нули различных капиталов и приняв во внимание общий упадок народного хозяйства, быстро дала свое родительское согласие. Растроганный Валентин Аполлонович всплакнул и заявил, что немедленно займется шитьем пеленок для своего будущего внука. Но когда родители хотели поделиться с Женей

приятной новостью, они нашли ее сидящей на заборе и горланящей изо всех сил:

Девочки-бутончики  
Пьют одеколончики,  
А я, малец, сдуру  
Крою политуру.

- Сын сенатора Тишемышева просит у нас твою руку, - пренебрегая местом и обстоятельствами, торжественно объявил Валентин Аполлонович.

- Когда я куплю себе в Харькове перчатки для бокса, сын сенатора сможет вполне оценить мою руку, - ответила Женя и выразительно сплюнула.

Валентин Аполлонович, вспомнив трубку с ее двусмысленной ручкой, свою неудавшуюся жизнь, трагедию "Бедной Лизы", а также неприбытие желанного Поля, тихо расплакался. Но нежная Асенька поступила разумно, а именно: голосом, не терпящим возражения, она приказала дочери Евгении слезть с забора и вспомнить, что она девица благородного происхождения (последнее в устах Асеньки звучало особенно убедительно). Женя, скромно сделав книксен, отправилась в свою комнату и над французской грамматикой начала гадать, какого рода слово "мать", "ла мэр" или "ле мэр", но, не разрешив этой проблемы, уснула.

Видя странные наклонности дочери и воспользовавшись общим затишьем, вызванным оккупацией германскими войсками губернии, где находились оба имения, Асенька решила свадьбы не откладывать. Валентин Аполлонович участвовал в шитье подвенечного платья и не раз кокетливо примерял его, украшая свою алую лысину снежным флердоранжем. Скромный по природе правовед усиленно штудировал сочинение доктора Штрауса "Советы молодому мужу". Совсем иначе готовилась к торжественному дню Женя. Последнее время она вела себя отменно и никогда не забывала покраснеть при встрече с женихом. Время от времени, куря тихонько на скотном дворе пенковую трубку, к которой Женя, увы, прирастилась, она перед свиданием с правоведом съедала не менее полуфунта мятных конфет. За два дня до свадьбы под видом меланхоличной прогулки она отправилась в деревню Ломач, расположенную в трех верстах от Лирова, и легко разыскала там рябого "товарыша". Беседа носила

задушевный характер, но содержание ее осталось никому не известным.

Наступил прекрасный час венчания. На традиционные вопросы о согласии правовед, вспомнив сочинение доктора Штрауса, восторженно ответил:

- О, еще бы!..

Женя ничего не ответила, только вытащила из кисейного корсажа огромный фуляровый платок табачного цвета и громко высморкалась. Все были растроганы, а с Валентином Аполлоновичем приключилась даже легкая истерика.

По настоянию родителей Жени молодые остались в Лирове. Вечером Валентин Аполлонович исполнил для них романс на слова Дельвига, дал Жене несколько материнских наставлений и с большой свечой отправился лично проводить молодых в спальню. После этого старики, вместо того чтобы спать, занялись в столовой - Валентин Аполлонович гаданьем: кого ему пошлет господь - внука или внучку, а Асенька подсчетом расходов по ремонту закуток для трех борцов.

Комната молодых выходила прямо на балкон. Подумав о докторе Штраусе, правовед погасил большую свечу и прошептал:

Кошечка!

Женя ласково отозвалась:

- Котик!

После чего кошечка сказала мужу, чтобы он ложился, она же придет к нему через несколько минут. Правовед послушно разделся и закрыл глаза. Впрочем, глаз он мог и не закрывать, так как в комнате было совершенно темно. Четверть часа спустя он вздрогнул от нежного прикосновения, вскочил, страстно прижался и дико, нечеловечески закричал. В одной рубашке выскочил он на балкон и продолжал испускать отчаянные вопли. Вслед за ним проскользнул осторожно рябой "товарыш" и быстро скрылся среди деревьев парка. На крики прибежали перепуганные родители, не закончившие ни гаданья, ни подсчетов. Правовед, забыв о своей природной скромности, кинулся на Асеньку и даже лягнул ее своей тощей ножкой.

- Вы меня обманули! Вы меня женили на мужчине! Я этого не допущу! Теперь вам не большевики! Я подам заявление в Центральную раду!

Валентин Аполлонович упал без слов на пол, а когда ему дали понюхать соли, пропищал:

- Проклятый Кевале! Где его трубка?..

Но трубки уже не было в Лирове. Она дымилась в зубах молодого человека, пробиравшегося лесом к советской границе.

Через неделю в Курске появился молодой комиссар наружности весьма боевой, Евгений Валентинович Кискин. На местных жителей он произвел сильное впечатление как двумя дюжинами пулеметных лент, которыми был обмотан с головы до ног, так и мандатом, напоминавшим простыню. Среди многих других пунктов в мандате значилось, что товарищ Кискин имеет право реквизировать свободные танки, брать на учет туалетные принадлежности, привлекать епархиалок к отбыванию воинской повинности по производственной программе и арестовывать японских шпионов, находящихся как в городе Курске, так и в Курском уезде.

Товарища Кискина неизменно сопровождала делопроизводительница музыкальной секции Наробраза Эмма Кацельпуп. Присутствие ее явно угнетало комиссара, но страсть оказалась сильнее страха перед двумя дюжинами пулеметных лент, которые товарищ Кискин грозил пустить в ход, и Эмма с каждым днем делалась все настойчивей. Обыватели серьезно спорили меж собой, кем она является - танком, епархиалкой, японским шпионом или туалетной принадлежностью, но Эмму Кацельпуп подобная классификация мало интересовала. Решившись, храбрая делопроизводительница проникла в седьмое советское общежитие, где товарищу Кискину была предоставлена комната, примерно около трех часов ночи, показав часовому вместо предписания об обыске тетрадку нот, скрепленную если не казенной печатью, то сотней рассыпных папирос. Товарищ Евгений мирно лежал на кровати, куря свою трубку. Эмма Кацельпуп вбежала в комнату, замкнула крючком дверь и упала на грудь комиссара, томно подвывая:

- Не гони меня, о мой красный Нарцисс!

Через минуту все седьмое общежитие проснулось от звериного вопля. На лестнице Эмма Кацельпуп, вцепившись в коменданта, кричала:

- Вы понимаете, товарищ, что разбиты все мои идеалы! Как я могла предположить, - он же курил трубку! Я оскорблена! Трижды

оскорблена: как сознательный работник, как женщина, как грядущая мать!..

Когда первая суматоха улеглась и рыдающую Эмму Кацельпуп отвезли, не понимая темного значения ее слов, в родильный приют, товарищ Кискин счел благоразумным покинуть седьмое общежитие. Крайне взволнованный происшедшим и даже уязвленный в своих целомудренных чувствах шестнадцатилетней девицы, товарищ Кискин забыл на кровати трубку.

Утром произошел ряд непредвиденных событий. Освободившуюся комнату Кискина предоставили только что приехавшему в Курск скромному делегату народных учителей Попко. Надо отметить, что Попко был человеком чрезвычайно деликатным, сомневающимся абсолютно во всем: в погоде, в существующем режиме, в господе боге, а пуще всего в самом себе. Попко вечерами донимал свою супругу совершенно исключительными вопросами. Начиная по-человечески: "Который час?" или "Какое сегодня число?" - он быстро доходил до мистики: "Скажи, Манечка, я твой муж или нет?", "Скажи, деточка, как по-твоему, я факт или только твой сладкий сон?", и так далее, пока утомленная Манечка не принималась хлестать его вялые бабьи щеки сухой таранью, вызывая на них румянец младенца.

Вот этот Попко, приехав в Курск и растерявшись на вокзале до того, что отправился к коменданту станции проверить, действительно ли он - Попко, а этот город - Курск, по милости судьбы получил ордер на половину комнату Кискина в седьмом общежитии. Усталый Попко тотчас вытащил инструкцию, гласившую о том, что он должен делать и чего делать не должен, прочел ее дважды, а прочитав, заметил на второй пустовавшей кровати пенковую трубку. Так как в инструкции трубку курить не запрещалось, Попко робко набил ее своей махорочкой и затянулся. Тогда Курск, комната, его собственные ноги потеряли всякие следы очевидности, и Попко, одурев, задремал, не выпуская из зубов трубки.

В это время Эмма Кацельпуп, освобожденная из родильного приюта, носилась по городу с дикой жаждой мести. Воистину это была роковая женщина. В различных учреждениях она требовала, чтобы товарища Кискина арестовали как самозванца и субъекта, явно примазавшегося к революции. После долгих увещаний младший

комиссар уголовной милиции Гогоченко, подумав, что человек, скрывающий свой пол, по теории вероятности скрывает и нечто иное, как-то: бриллианты или, на плохой конец, серебряный портсигар, отправился в седьмое общежитие, сопровождаемый двумя милиционерами. Увидев бабьи вялые щеки Попко, не освеженные прикосновением сухой тарани, Гогоченко в упор спросил:

- А вы кто такой, товарищ, будете?

Попко, сомневающийся вообще, а после трубки, одурманившей его, тем паче, робко ответил:

- Кажется, командировочный Попко.

Гогоченко, почуяв правильность показаний Эммы Кацельпуп, грозно рявкнул:

- А ты собственно говоря, товарищ или баба?

- Может, и баба, - вздохнул печально Попко. - Манечка меня часто зовет "бабой".

Гогоченко приказал немедленно двум милиционерам отвести Попко в губернскую тюрьму.

- Товарищ комиссар, а в какую, в женскую, что ли? - спросил особенно исполнительный милиционер.

Но Гогоченко, занятый приятной находкой - пенковой трубкой, не удостоил его ответом.

Комиссар решил закурить трубочку, но так как вместо спичек у него было зажигательное стекло, он прежде всего начал ловить солнце. День был пасмурный, и словить солнце оказалось гораздо труднее, чем арестовать самозванца- бабу. Гогоченко отправился за город, решив, что там он обязательно найдет солнце, так как каждый раз, когда он бывал за городом, солнце неизменно сияло. Пройдя заставу, комиссар вынул зажигательное стекло и, как опытный птицелов, затаив дыхание, начал ждать. Пять минут спустя, сбитый кем-то с ног, он лежал на земле, а по нему носились взад и вперед два странных существа. Гогоченко было очень больно, но, не теряя мужества, он узнал в одном из существ Эмму Кацельпуп. Она была в мужском костюме и вес ее сапог комиссар ощущал на своем животе. От нее убегала какая-то перепуганная девочка.

Оказывается, Эмма Кацельпуп, не доверяя способностям Гогоченко, решила сама словить коварного обманщика и для удобства нарядилась в костюм сторожа Наробраза, Михалыча. Ее рьяность не

осталась тщетной, и к полудню она отыскала товарища Кискина. Одетый в юбку, он скромно сидел на скамеечке городского сквера и изучал французскую грамматику. Эмма Кацельпуп кинулась к нему с возгласом:

- Держите мазурика!..

Женя, спасаясь, перепрыгнула через решетку, и началась неистовая погоня. По дороге они сшибли автомобиль губисполкома, три агитационных киоска, крестный ход и даже стадо волов, шедших мирно на бойню. Весь город был охвачен паникой. Вскоре на помощь контуженному Гогоченко, по которому продолжали бегать две женщины, прибыли отряд милиции, пожарная команда, артиллерийские курсы в полном составе и поезд для пропаганды. Общими усилиями были пойманы сначала Женя, которая вопила:

- Он меня хочет погубить, как правовед!

А вслед за ней и Эмма Кацельпуп, рычавшая:

- Она меня навеки обесчестила!

Для расследования обе были Гогоченко отвезены в тюрьму. Отдышавшись, комиссар, который за весь день ничего не ел, закурил наконец найденную трубку. Сразу у него закружилась голова, и им овладел сон. Он, шатаясь, поплелся домой, то есть в бывшие номера "Барселона". Было уже двенадцать часов ночи.

Возвращения Гогоченко с нетерпением ждала жена Ксюша. Не то чтобы она очень скучала по супругу, но комиссар возвращался обыкновенно в десять, а в четверть одиннадцатого уже храпел, и сегодняшнее опоздание путало все планы Ксюши. В соседнем номере ждал ее артист передвижной труппы Щупляков. Наконец раздались шаги, дверь скрипнула. Но никто не вошел, и, сообразив, откуда доходили шумы, Ксюша горько заплакала, - на свете не было верности, и Щупляков ее обманывал, как она обманывала мужа.

Войдя в комнату, Гогоченко положил трубку на стол и, не раздеваясь, сильно утомленный всеми событиями дня, лег на кровать. Он успел уже задремать, когда раздался шепот:

- Ксюша!

Гогоченко удивился, почему жена окликает сама себя, но нежно ответил:

- Ксюша!

Тотчас же к нему прижались теплые мягкие щеки. Умиленный Гогоченко ощутил сильный прилив супружеских чувств. Но не прошло и минуты, как он сидя на толстом животе актера передвижной труппы Щуплякова, бил его шашкой, милицейской бляхой, даже лавровым венком, висевшим над кроватью. Бил до тех пор, пока на крики актера не прибежали подчиненные Гогоченко. О событии дали знать высшему начальству, и высшее начальство, заботясь о поднятии нравственности среди начальства низшего, приказало Гогоченко арестовать.

Весь следующий день Щупляков, лежа с обвязанной мокрыми полотенцами распухшей физиономией, пил спирт и курил забытую комиссаром трубку.

К вечеру чувство профессионального долга все же победило, и Щупляков побрел в городской театр.

- Что сегодня?

- "Саломея".

Щупляков удивился и хотел вспомнить, какая у него роль, но не смог. Забравшись в уборную, он начал поспешно одеваться. Трубка придавала ему силу и бодрость.

Подняли занавес. Театр был полон. Престарелая женщина в виде пажа провыла что-то о красоте Саломеи. Наступила длительная пауза. Наконец на сцену вылетел кубарем, как во ввдном цирковом номере, режиссер передвижной труппы, закудахтал и почесал затылок. За ним грузно вошла Саломея с невероятным брюхом, в рыжих мужских штиблетах; в зубах ее была пенковая трубка сомнительной формы. Саломея, сделав церемонный реверанс, начала исполнять традиционный танец, оказавшийся на этот раз казачком. Плясала она вприсядку, топотом оглушая зрительный зал, а кончив плясать, глухо пробасила:

- Дайте мне, что ли, его головку!..

Публика замерла. Но, расталкивая всех, прямо по креслам, на сцену пронесся благообразный лысый старичок и, томно упав перед Саломеей, завизжал:

- Бери ее! Она твоя! О Поль, наконец-то ты пришел!

Занавес хотели опустить, но не смогли, ввиду общего экстаза. Начался скандал. Вмешалась милиция и, арестовав старичка, нашла

при нем паспорт на имя Валентина Аполлоновича Кискина. Кискин вместе с артистом Щупляковым препроводили в тюрьму.

Весь город был возмущен. События следовали одно за другим с кинематографической быстротой: нападение служащей Наробраза на седьмое общежитие, арест таинственного делегата, бегство и буйство двух особ, неподобающее поведение младшего комиссара, наконец, скандал в городском театре. Даже в глазах тупого обывателя эти факты являлись между собою связанными и явно напоминали заговор. Председатель губисполкома вызвал следователя по особо важным делам товарища Каплунчика и предложил ему выяснить обстоятельства, при которых ряд лиц, сомневаясь в самих себе и других, стали совершать поступки, опасные для государства.

Товарищ Каплунчик прочел предварительно несколько томов "Истории революции и контрреволюции во Франции", а затем стал часами разглядывать в лупу оттиски пальцев арестованных. Несмотря на такое трудолюбие, ему не удалось обнаружить никаких нитей заговора. Следователь готов был отчаяться, но на помощь ему пришла жизнь в лице молодого скульптора Дермозола и древнего римлянина Спартака.

Когда пьяного Щуплякова вели из театра в тюрьму, он запутался в длинном костюме Саломеи, упал, разбил, впрочем уже разбитый Гогоченко, нос и потерял трубку. Взволнованный успехом, самолюбивый актер пропажи не заметил. Трубку подобрал скульптор Дермозол, но, будучи некурящим, отложил ее на черный день. День этот, то есть черный, настал быстро: Дермозол получил от Наробраза срочное предписание изготовить бюст Спартака для установки его во время праздника в городском сквере. Казалось бы, что в этом не было еще ничего черного, но следует помнить, что Дермозол стал скульптором исключительно по мобилизации на трудовые работы и не умел даже свалить шарика из хлебного мякиша. Прочитав бумагу, Дермозол поплакал, а затем отправился в училище рисования посоветоваться по душам со сторожем. В училище он узрел два гипсовых бюста: Зевса и Палладу. Зевс не подходил, ибо был стар и потому контрреволюционен, а Паллада, несмотря на мужественный профиль и шлем, являлась все же женщиной. Но Дермозол, занимаясь мелкой спекуляцией, в душе был художником и поэтому недолго думая побежал разыскивать синдетикон.

Когда на следующий день под звуки военного оркестра, а также под раскаты надвигающейся грозы, с памятника сдернули покрывало, - перед всеми предстал юный герой, окаймленный патриархальной бородкой, в шлеме, украшенном красной звездой, с пенковой трубкой в зубах. Председатель губисполкома горячо жал руку Дермозолу. Церемония закончилась под проливным дождем, а когда дождь прошел и публика вновь наполнила сквер, вместо Спартака красовался бюст молодой особы, нагло курившей трубку. Милиционеры, привыкшие за последние недели к подобным происшествиям, уже не дожидаясь приказа, потащили гипсовую женщину в губернскую тюрьму.

Товарищу Каплунчику доложили о последнем акте заговорщиков, а также доставили трубку, найденную в зубах гипсовой преступницы. Исключительно по соображениям служебным, он закурил ее, и с этой минуты усомнился абсолютно во всем.

Трубка теперь украшала рабочий стол Каплунчика, и многие храбрые товарищи, соблазняясь ее странной силой, подносили сомнительную ручку в манжете к своим честным губам. В городе Курске началось стихийное неблагополучие. Сам Каплунчик, выступив на митинге, говорил о себе в среднем роде:

- Я опытное существо, я взяло это дело, я изучило его и доведу до конца.

Заведующий выдачей трудовых книжек Обов, выкуривший как-то трубку, не менее тысячи гражданам в графе "пол" вписал нечто невразумительное, другим - "не значится", третьим просто - "кукареку".

Заведующий губздравом доктор Фейт лег на скамью в сквере и со стоном потребовал, чтобы ему выдавали раек по категории беременных и кормящих грудью.

Жена Каплунчика записалась в Красный Флот. Даже его куры стали нести подозрительные яйца, очень большие и совершенно пустые, кроме того, не в курятнике, а в кабинете товарища Каплунчика, используя для этого его рабочий стол.

В городе начались волнения. Каждый день число заговорщиков увеличивалось. Правда, в тюрьме режим был хороший, но арестованных утомляли частыми переселениями. Начальник тюрьмы, не зная, в какое отделение их поместить - мужское или женское,

каждый день, в зависимости от ходя следствия, переводил всех скопом, включая и гипсовый бюст, из одной камеры в другую.

Население, подверженное этой ужасной эпидемии, роптало. Пошли слухи, что на могиле некоего артиста Георгия Кеволе, похороненного в Курске лет десять тому назад, происходят чудодейственные явления и что погребен в ней вовсе не Кеволе, а благочестивая отроковица Аграфена. Говорили, будто из могилы раздается младенческий писк, а порой на ней появляются различные предметы широкого потребления, даже съедобные. Какой-то монах клялся, что он нашел на могиле сочный, спелый фрукт, похожий на айву, и съел его. На могиле служили молебствия. Товарищ Каплунчик распорядился сделать раскопки. При большом стечении народа могилу раскрыли, но в ней оказались лишь один охотничий сапог и дамский корсет. Духовенство продолжало служить молебствия. Каплунчик, между двумя допросами написал статью "Религия кокаин" и приобщи́л найденный корсет к делу.

Кто знает, что стало бы с хорошим губернским городом, если б в одно утро на товарища Каплунчика не снизошло бы божественное вдохновение. Закончив свое безрезультатное следствие, он диктовал машинистке бумагу о предании суду Революционного трибунала двухсот заговорщиков. Кончив часть вступительную, он отчеканил:

- На основании вышеизложенного подлежат суду... - И замолк. Взгляд его упал на лежавшую мирно трубку.

- Как дальше? - робко спросила машинистка.

Каплунчик хладнокровно ответил:

- Исправьте: подлежит суду пенковая трубка сомнительной формы.

Оглянувшись, он увидел, что трубки больше не было. На том месте, где только что ручка сжимала пенковое яйцо, пищал живой цыпленок так, как некогда пищал Жоржик Кеволе. Все розыски были безрезультатны. Трубка исчезла и, судя по воцарившемуся в Курске спокойствию, покинула город.

Я не знаю, где она находилась в течении двух лет и чьи души погубила. Но этой весной, на второй день пасхи, в скромную комнату, занимаемую мною в одном из пансионеров Берлина, вошла незнакомая мне девушка привлекательной наружности.

- Я ваша почитательница, - сказала она, не смущаясь. - Я знаю ваши мысли о конструктивизме и вашу любовь к трубкам, поэтому, чтя, как и вы, святые обычаи старины, я принесла вам пасхальное яичко.

Она протянула мне пенковую трубку сомнительной формы, из-за которой однажды чуть не погиб хороший губернский город, и, заметив мое смущение, стала уговаривать меня сейчас же ее закурить. Она даже поднесла мне спичку.

Но я, действительно горячо преданный обычаям старины, предложил ей предварительно обменяться традиционными пасхальными лобзаниями. Это занятие сильно затянулось, и таким образом моя находчивость спасла меня от судьбы бедных курян. Когда милая почитательница ушла, я спрятал трубку в ящик стола. Думаю, незачем добавлять, что я никогда не курю ее. Но бывают в жизни различные сложные обстоятельства, и я должен признаться, что одному из приятелей, обладавшему прелестной женой с золотыми кудрями и многими иными достоинствами, я дал однажды покурить пенковую трубку сомнительной формы, смягчив мою жестокость высоким качеством английского табака.

Двенадцатая трубка  
(Трубка святого Губерта)

Всякий раз когда мой с детства блудливый язык готовится посягнуть на величественную пирамиду верований, я вовремя останавливаюсь, - передо мной большая, уродливая баварская трубка, ниспосланный мне ангел благого молчания. Я знаю ее историю. Я часто пляжу на нее, но никогда не подношу черного рогового мундштука к моим губам.

В южной Германии - в Баварии и Вюртемберге - крестьяне любят курить вот такие огромные и сложные трубки, трех- или четырехколенчатые, с фарфоровой чашечкой, на которой изображены незабудки, серна или молодая девушка между конфирмацией и свадебным ложем. Впрочем, на трубке, которой я обладаю, нет ни девушки, ни серны, но золотая пчела над розой и прекрасное изречение готическими иероглифами: "Дай мне сладкого меду".

Трубку эту курил в течение двенадцати лет лесничий Курт Шуллер, в маленьком домике на мохнатой макушке Вармефуссовского холма. Курил после обеда и вечером, важно ставя

ее меж ног, как царственный жезл, и время от времени отхлебывая струю холодного дыма. Двенадцать лет жена Курта, белесоватая Эльза, до чрезвычайности напоминая хорошо обструганную гладильную доску, помимо варки картофеля и штопки толстых зеленых носков глядела на пчелу, обещавшую сладкий душистый мед, и вдыхала тяжелый табачный дух. Хотя лесничий курил хороший гамбургский канастер, Эльзе очень не нравился едкий запах, даже роза не была способна утешить ее. Двенадцать лет она терпеливо ожидала, когда же Курт разобьет трубку, после опыта с кофейным сервизом зная, что фарфор бьется без особого труда. Но ни разу Курт не выронил из своих рук жезла. О том же, чтобы самой разбить трубку, Эльза не смела подумать - даже легкое прикосновение к розе или к стволу трубки, покрытому рыжей оленьей шерсткой, мнилось ей святотатством.

Конечно, плохой запах - вещь не столь важная в обычной человеческой жизни. Но ведь Эльза жила на верхушке Вармефуссовского холма, куда не заходят даже самые предприимчивые туристы. Таким образом, у нее не было ни Марты, ни Зельмы, чтобы поговорить хотя бы о зеленых носках, но других, то есть принадлежащих Францу или Карлу.

Внутренность дома лесничего также располагала к сосредоточенности и постоянству: оленьи рога без всякого практического применения, большое деревянное изображение святого Губерта в человеческий рост, двухспальная кровать с двенадцатью подушками и четыремя перинами, стол, скамья. Так как Эльза не любила ни молиться, ни спать днем, то все часы, оставшиеся свободными после того, как Курт поедал котел с вареной картошкой, она посвящала ожиданию благословенного часа, когда трубка наконец разобьется и перестанет отравлять удушающим запахом тесный, с трудом проветриваемый домик.

Но трубка оказалась долговечнее мира, Германской империи и многих других вещей, скорее напоминая гранит, нежели фарфор. 4 августа 1914 года Курт Шуллер, надев две пары двойных носков, вложив в сумку хлеб, маленькую дрянную трубочку и пакет канастера, начал спускаться по крутой тропинке, бодро насвистывая военный марш. Жена побежала за ним и в последний раз приложилась

своей обструганной грудью к его дородной сумке, обливая ее слезами, походившими на сплошную холодноватую воду горных дождей.

Затем Эльза Шуллер стала ждать часа - уж не того, когда разобьется трубка, - обезоруженная, на стенке, она теперь вызывала лишь нежность, но иного, когда на тропинке покажется дорожная сумка Курта. После двенадцати лет прежних ожиданий, три года войны прошли довольно быстро. О Курте Эльза ничего не знала. Несколько раз она спускалась в Обердорф, наводила справки, писала прошения, но тщетно. Она окончательно свыклась с необычайной просторностью кровати, с бездыханностью трубки, варила значительно меньше картофеля и больше ничего не ожидала. Впрочем, иногда, ложась на окраину ложа, она потягивалась, глядела на розу и на пчелу, в томленьи сжимала колени и смутно, уже в полусне, шептала:

- Дай мне сладкий, душистый мед!

Этот мед ей был дарован в виде военнопленного, отправленного в Вармефуссовский лес для рубки дров, пензенского бобыля Фаддея Ходошлепова. Когда Фаддей зашел впервые в домик лесничего и мычаньем попросил позволения обогреться, Эльза сразу сообразила все: то есть, не думая об этике и о том, что она перед светлым днем конфирмации, а также не вникая в оттенки национальной проблемы, она стала варить большой котел картофеля, такой же, как готовила в былые годы для Курта Шуллера. Засим, аккуратно раздевшись, она начала ждать, думая, что этот чужеземец, не понимающий простой человеческой речи, все же поймет, что она одна на широкой кровати напрасно ждет мужа уже в течении трех лет. Так и случилось. Фаддей ждать себя не заставил, и, одухотворенный двойным содружным храпением, маленький домик на верхушке поросшего буком холма вновь заговорил о любви и о мире.

Но утром Эльза почувствовала, что чего-то недостает ее новому господину. Тогда наступил торжественный миг коронации - кротко, с умиленной улыбкой поднесла она Фаддею четырехколенчатую трубку с пчелой и розой, а также одну из пачек доброго старого канастера, который в изрядном количестве хранился в сундуке Курта Шуллера. Фаддей не удивился, не смутился, уверенным жестом он поставил трубку меж ног и, будто он не Фаддей Ходошлепов, а чистокровный шваб, уже двадцатое поколение владеющий пером на зеленой шляпе,

кегельбаном и трехлитровой пивной кружкой, начал выхлестывать сизый, остуженный дым. Эльзу слегка затошнило, но даже эта тошнота была ей приятна. Когда же она вновь подумала, скоро ли эта трубка наконец разобьется, как молочник и сахарница, - ее душу охватила знакомая истома благоденствия впервые после того вечера, когда Курт Шуллер ушел вниз по тропинке на войну.

За этим днем последовали другие, много других, и ничего до 5 мая 1918 года не тревожило ее мирных ночей и робкого упования на бренность трубки. Но в указанный день случилось нечто катастрофическое и выходящее за пределы ее тихого ангелоподобного характера. А именно, часов в шесть вечера, когда Фаддей, доколов во дворе воз дров, сосал священную трубку, Эльза подошла к окну, чтобы плотком свежего воздуха ослабить силу неиссякающего канастера, и вдруг отчаянно кудахнула. По тропинке подымался Курт Шуллер с дорожной сумкой.

Фаддей, не понимавший ни одного слова, сокровенный смысл кудахтанья мгновенно уловил и, отложив свой жезл, быстро выскочил в дверь, скрывшись среди тени вековых буков. Но с ним не ушел, да и не мог уйти тяжелый табачный дым. Эльза сразу поняла, что этот запах - отчет о сладостных ночах на ложе, недаром обладающем двенадцатью подушками и четырьмя перинами. Чудесное озарение сошло на нее - она взяла еще дымящуюся трубку и приставила ее к статуе так, что благоговейно улыбающиеся уста святого Губерта касались рогового мундштука.

Действительно, Курт Шуллер, войдя в домик, не глядя на жену и не слушая ее восторженных всхлипываний, прежде всего стал нюхать, - как мог он не узнать запаха своего старого доброго канастера? Не дожидаясь грозного вопроса, Эльза, богомольно сложив руки на груди, прошептала:

- Он курит...

Робко коснулся Курт еще теплой фарфоровой чашечки и перекрестился. Засим он сел за стол и принялся, степенно почавкивая плотать картофель. Откушав, он не решился потревожить святого Губерта и выкурил безо всякой зависти свою дрянную походную трубочку. Час спустя под четырьмя перинами он смог убедиться в том, что ничего не переменилось в этом доме и что томная нега Эльзы, нерастраченная, ждала четыре года возвращения супруга. О,

это не было игрой, ибо свято и невинно отдавалась Эльза Курту, и при виде его зеленых двойных носков гладко обструганная грудь вскипала неподдельной страстью.

Проснувшись рано, Эльза немного удивилась - вместо мочальной льняной бородки ее щеку щекотали седые жесткие усы. Но еще более сильное изумление ожидало ее: взглянув на деревянную статую, в ужасе и в восторге она увидела, что святой, с удовлетворением улыбаясь, выплевывает изо рта клочья густой серой ваты, точь-в-точь как делали это Курт и Фаддей.

Не в силах скрыть потрясения, она соскочила с кровати и пала на колени, крича:

- Курт, он курит!

Лесничий, утомленный дневной дорогой и ночной негой, нехотя приоткрыл глаза.

- Но ведь ты мне уже раз сказала об этом, - проворчал он и вновь уснул. Потом, уже окончательно проснувшись, он никак не мог понять потрясения жены, которая должна была привыкнуть к подобным чудесам, и отнес его за счет волнения, причиненного супружескими ласками после столь длительного перерыва. Как же могла Эльза объяснить ему различие между вчерашним нежным обманом и сегодняшней достоверностью?

Никогда впоследствии ни Эльза, ни Курт не видели больше, как святой Губерт курит, хотя трубка и оставалась бесценно в его распоряжении. Они склонялись к мысли, что святой, не желая вводить в соблазн слабого человека, курил незримо, вознося к небу легчайшие облака, лишённые цвета и запаха. Во всяком случае, ни они, ни приходившие из Обердорфа набожные люди не сомневались в том, что святой Губерт курит, и не пытались выяснить, зачем святому понадобилось заниматься таким плотским и низменным делом, ибо подобные мысли были бы грешным стремлением проникнуть в тайны божественного промысла.

Супруги прожили мирно еще два с половиной года. Эльза отдавалась счастью, не отвлекаясь больше никакими побочными надеждами. Она теперь узнала, что гибель четырехколенчатой трубки не принесла бы ей никакого облегчения, ибо канастер в маленькой трубочке пах столь же сильно.

В декабре прошлого года лесничий, обходя свой участок, простудился, заболел воспалением легких и вскоре умер. Уже не дождь, а ливень холодноватых сплошных слез Эльзы оросил его скромную могилу. Самой Эльзе пришлось покинуть Вармефусс и перебраться в Обердорф, где она потупила в "Гастгауз цум левен" на должность судомойки. Тяжелые материальные обстоятельства, а также непосильность обременять свои вдовьи ночи на одной подушке и под одной периной двумя любовными и третьим божественным воспоминаниями принудили ее продать трубку старьевщику за пять марок.

Так как старьевщик был человеком набожным и в то же время деловым, он перепродал мне эту трубку за пятьдесят марок, приложив к ней патетическую историю, добросовестно мною изложенную. Получив деньги и дружески щелкнув пчелу, повисшую над розой, он с подлинным чувством сказал:

- А все же я не сомневаюсь в том, что святой Губерт курил ее!

От себя добавлю: я тоже не сомневаюсь в этом. Я храню эту трубку, как мудрое назидание и нерадивой пчеле, и ветреной розе, пуще всего - как источник святой веры. В минуту сомнения я гляжу на нее; да, да, конечно, святой Губерт курил из нее! Если же я не курю, то только потому, что, будучи фарфоровой, она покрывается нагаром, но никогда не обкуривается. Фарфор, лишенный пор, подобен безлюбным сердцам: встречи и года ложатся на них тяжелым густым налетом, но никогда ничье острое дыхание не пронизывает их холода.

Тринадцатая трубка

История тринадцатой трубки, самой любимой из всех моих трубок, чрезвычайно сентиментальна, и она, безусловно, вызовет насмешки многих. Что же делать, я сам сентиментален и ничуть не стыжусь этого. Я люблю мелодраму - кровь и незабудки на плакате кинематографа. Я знаю, что любовь не только в ледниковых очах полубога, но и в слезящихся глазах старой собаки, ожидающей очередного пинка.

В 1909 году, в Париже, по соседству со мной, на тихой улице Алезия, проживал крупный скотопромышленник господин Вэво с молодой женой Марго. Господин Вэво любил свое дело и каждое утро отправлялся на бойню близ улицы Вожирар. Он глядел, как животных резали, глядел деловито и любовно, расценивая шкуру и мясо, сало и

кровь. Особенно нравился ему убой свиней, закалываемых медленно, чтобы успела вытечь вся кровь. Господин Вэво как бы взвешивал дымящуюся густую струю, взвешивал ее густоту и добротность, сколько из нее может выйти кровяных колбас и сколько луидоров даст колбасник за каждое ведро. Иногда господин Вэво марал рукава своей рубахи свиной или бычьей кровью, и на голубом полотне кровь сохла, чернела. Проверив туши и получив луидоры, господин Вэво шел в ресторан на улице Вожирар, где заказывал себе жирное мясо.

Хозяин знал вкусы своих посетителей, и господину Вэво подавали груды жира. Он долго ел, после еды полоскал рот крепкой нормандской водкой и ехал домой. Марго должна была ожидать его, и, ложась рано, часто еще засветло, как ребенок, господин Вэво, пахший свиной кровью и бычьим салом, ласкал ее, стискивал шею, ударял бедра так, как если бы его жена была хорошей полновесной тушей. Вскоре он засыпал и спал долго, мыча, прихрапывая, а под утро, когда ему снились нехорошие сны, скрежетал зубами.

Марго была телосложения деликатного и темперамента флегматического. Ласки господина Вэво пугали ее, а от запаха крови ее тошнило. Она не могла говорить с мужем ни о весенних туалетах, выставленных в магазине "Самаритянка", ни об интригах домовладелицы госпожи Лекрюк, ни о хорошей погоде, - господин Вэво все указанные вопросы рассматривал чисто профессионально, высчитывая, сколько килограммов вырезки стоит платье с ажурными прошивками. Лишенная духовного общения и скорее запуганная, нежели удовлетворенная общением телесным, Марго на третий год брака окончательно созрела для любовника. Как всякая женщина, она искала любви тихой и ровной, любви, подобной матовому фонарю ее будуара, слишком темному, чтобы мужчина мог при нем работать, и достаточно яркому, чтобы не давать ему спать.

В это время с госпожой Вэво познакомились два приятеля, вернее, два земляка, недавно прибывшие из Лиона, - молодой поэт Жюль Алюет и студент Сорбонны, математического факультета, Жан Лиме. Поэт любил женские письма, сладкое вино и рецензии в толстых журналах. Студент всему предпочитал западный сырой ветер, скуку и блуждание ночью по пустынным предместьям города, когда он крупными и ровными шагами мерил длину улиц. При явном различии наклоностей и Жюль и Жан, увидев Марго, равно

растерялись. Поэт вечером не просмотрел журналов, а студент забыл о том, что ему надлежит скучать. Далее все пошло естественным порядком.

Два косолапых, долговязых человека начали проделывать тысячи несуразностей, ради одной маленькой расчетливой женщины, никогда не способной просчитать хотя бы одно су. Утром, когда господин Вэво марал свиной кровью свои голубые рубашки, Жюль Алует и Жан Лиме, как два пса, сопровождали Маго в магазин "Самаритянка" или в парк Монсури, покорно следя за малейшим движением своей госпожи. И любовь, которая грозна и громка в ледниковых очах полубога, робко жалась в их кротких собачьих глазах.

Господин Вэво как-то столкнулся с обоими юношами и внимательно осмотрел их. Они показались ему двумя мелковесными барашками. Он понимал, что оба вместе они недостойны сравниться с ним, даже в часы его слабости, и поэтому не испытал никакой ревности. Напротив, посещения двух молодых людей, из которых один писал в газетах, а другой был племянником мэра города Дижона, льстили самолюбию господина Вэво.

У Жюля бывали часто неприятности с хозяином ресторана, где он столовался, и с привратницей из-за неоплаченных счетов, так как деньги получаемые от матери, он тратил на цветы Марго, на сладкое вино и на угощенья черствых критиков. Почувствовав благорасположение господина Вэво, он как-то в трудную минуту взял у скотопромышленника займы тысячу франков, выдав взамен расписку на вексельной бумаге.

Прочитав как-то, что Верлен курил трубку, Жюль решил не пренебречь этой живописной потребностью. Он купил маленькую пенковую трубку с янтарным мундштуком и на кольцо выгравировал свои инициалы. Трубка показалась ему на редкость невкусной, а когда он признался в этом опытному курильщику, то узнал, что трубку надо обкурить. У Жюля не было терпения. Он хотел получить сразу обкуренную трубку, не понимая, что обкуренная трубка столь же мало похожа на выставленные в витринах магазинов, как прожитая жизнь на мечтания двадцатилетнего юноши. Жюлю пришлось, таким образом, примириться с неприятным привкусом ради приближения к незабываемому облику Верлена, судьба готовила ему иные сладостные утешения.

Господин Вэво не был столь далек от истины, оставаясь равнодушным к отношениям между его женой и двумя поклонниками. Если Марго, как уже было сказано, созрела для любовника, молоденькие провинциалы, неопытные и наивные, познав на опыте, что такое любовь, еще не знали, как надлежит поступать с этой любовью. На помощь пришла весна, эта известная всему Парижу сводня, с ее притворными ливнями и кокетливым солнцем.

Как-то, угрюмо шагая по парку Монсури, Жан увидел среди листвы Марго и Жюля. Поэт храбро поцеловал щеку Марго. Женщина не только не ударила его, но сама поцеловала в губы и, доставши из сумочки ключ от двери, подала его с лукавой улыбкой Жюлю. Жан видел все это, и, вопреки утверждениям многих писателей, ему не захотелось убить ни Марго, ни Жюля. Он продолжал крупными шагами мерить аллею парка Монсури, думая о том, что Марго любит Жюля и что это хорошо, длительно и важно, как пустынные улицы предместья и как ветер с моря. Жан думал еще о том, что поезд в Лион отходит по вечерам в восемь тридцать и что ему, Жану, следует завтра ехать этим поездом.

Так думал Жан, потому что был молод и наивен. Он не понимал, что Марго созрела для любовника и что, если бы Жан поцеловал ее среди листвы парка Монсури, она отдала бы Жану ключ от двери. Жан не знал, что женщине нужна любовь тихая и ровная, как матовый фонарь будуара, слишком бледный для того, чтобы мужчина мог при нем работать, и достаточно яркий, чтобы мешать ему спать.

Вечером Жан встретил Жюля. Казалось, поэт должен был петь, смеяться и проказить, как это делают в книгах все счастливые влюбленные. Но Жюль был зол и мрачен. Он имел для этого достаточные основания и поделился ими с Жаном. Господин Вэво, очевидно почувствовал некоторую перемену в Марго, потребовал у Жюля немедленной уплаты давно просроченного векселя, грозя в противном случае публичным скандалом. Жана очень огорчили подобные неурядицы, как бы осквернявшие нежное видение среди листвы парка Монсури. Он посоветовал поэту успокоиться и обещал ему тотчас по приезде в Лион раздобыть тысячу франков. На этом они расстались.

Это было в субботу, 21 апреля, в семь часов вечера. В воскресенье, около четырех часов пополудни, Жан отправился на

улицу Алезия, чтобы попрощаться с госпожой Вэво. Он не знал, что Марго еще накануне, то есть в субботу, уехала на два дня к своей тетушке в Медон. По словам привратницы, Жан пробыл в квартире Вэво не более десяти минут и вышел оттуда чем-то сильно взволнованный.

Госпожа Вэво вернулась в Париж в понедельник утром, а очередной номер газеты "Патриэ", которая, как известно, выходит около часу дня, был заполнен подробностями о "сенсационном убийстве на улице Алезия". Скотопромышленник Вэво был найден зарезанным кухонным ножом в совей кровати. Хроникер сообщал, что "ввиду характера ранений и полнокровия убитого, тело буквально утопало в крови". Вечером посыльный вручил Марго венок из белых роз, на красной ленте значилось: "От служащих городских боен".

Первой мыслью Марго, когда она увидела грузную тушу господина Вэво, замаранную уже не свиной, но своей собственной кровью, была тревога за Жюля. Ей вспомнились слова поэта, увидевшего среди листвы парка Монсури на руке Марго, немного выше локтя, синее пятнышко - след супружеских ласк скотопромышленника:

- Если он еще раз посмеет тебя тронуть, я его зарезу, как свинью...

Она ясно представила себе ревность и гнев Жюля, короткий ночной разговор, нож, томление возлюбленного, которого ждет теперь гильотина. Для маленькой Марго это было слишком сильным испытанием, и не мудрено, если посыльный принесший венок из белых роз, нашел ее заплаканной.

Сыскное отделение командировало на улицу Алезия Гастона Ферри, прозванного "Волчьим Нюхом", одного из лучших сыщиков Парижа. Волчий Нюх тщательно осмотрел все комнаты, запретил полицейским и Марго касаться вещей, находившихся в спальне убитого, веря, что на них сохранились отпечатки пальцев убийцы, подобрал пуговицу от брюк и апельсинную корку и потом, вспомнив романы Конан-Дойля, стал мрачно раздумывать, облокотившись, точь-в-точь как это делал великий Шерлок Холмс.

Выслушав сбивчивые объяснения жены убитого, Волчий Нюх приказал немедленно привести Жюля Алюета, на которого различные люди указали, как на предполагаемого любовника Марго. Поэт при

допросе хранил редкое спокойствие. Искренностью и обстоятельностью своих ответов он расположил к себе всех сыщиков. Он разъяснил невинный характер своего флирта с госпожой Вэво, и только на один вопрос, а именно: где он провел вечер и ночь с субботы на воскресенье, - ответил не сразу, смущаясь и краснея. В конце концов Волчий Нюх все же узнал, что в субботу вечером Жюль Алюет направился к Люсьен Мерд, хористке театра Гёте, и оставался у нее до полудня следующего дня, когда пошел с ней позавтракать в ресторан Шартъе. Допрошенная Мерд подтвердила показания Жюля. Таким образом, отпадало первое предположение, что убийцей является любовник госпожи Вэво, и в понедельник около шести часов вечера Жюль Алюет был отпущен на свободу.

Тогда, опираясь на слова привратницы, видевшей, как Жан Лиме в воскресенье, около четырех часов пополудни, поднялся в квартиру Вэво и вскоре вышел оттуда чем-то сильно взволнованный, Волчий Нюх отдал распоряжение привести второго заподозренного. В отличие от точных ответов Жюля, показания Жана сразу указывали на его виновность. Студент кратко заявил, что, придя в воскресенье после обеда в квартиру Вэво, он нашел хозяина уже мертвым. На вопрос, почему же он не позвал полицию и никому не сказал о своей страшной находке, студент ответить не смог. Столь же тяжелое впечатление оставили объяснения Жана о том, где он проел ночь с субботы на воскресенье.

- Ходил по улицам...

Наконец полицейский, который привел Жана, заявил, что застал его с запакованным чемоданом, готовящимся отбыть на Лионский вокзал. Это являлось также не малой уликой, так как объяснить причины своего предполагаемого, достаточно внезапного отъезда студент на захотел.

Волчий Нюх приказал обыскать Жана Диме. В карманах его не нашли ничего подозрительного: ключ, кошелек, трубка, спички. Но левый карман, в котором находилась трубка, был замаран кровью. Через час экспертиза дала заключение, что это человеческая кровь. Жан Лиме был препровожден в тюрьму Санте.

Хотя все говорили о глупости и неопытности преступника, Волчий Нюх горделиво охорашивался, чувствуя себя Шерлоком Холмсом.

На следующий день после похорон господина Вэво, Марго пошла к Жюлю. Войдя в его комнату, она разразилась слезами, жалобами и укорами. Не понимая значения последних, Жюль нервно мят толстый журнал с очень милой рецензией. Наконец Марго объяснила, что она глубоко возмущена изменой Жюля, отправившегося после утра среди листвы парка Монсури к какой-то вульгарной хористке.

Жюль объяснил Марго, что это случилось исключительно вследствие ее отъезда к тетушке в Медон и что теперь, когда они смогут проводить вместе дни и ночи, он не будет больше ходить к вульгарным хористкам. Это успокоило Марго, она спешно напудрилась, повеселела и, отдавшись, стала его подругой вначале, супругой потом, напудренной и веселой, на долгие и долгие годы, ибо любовь для нее была тусклым фонарем в будуаре, которые не дает мужчине работать и мешает ему спать.

Уходя, Марго спросила Жюля:

- А где же твоя трубка?..

Жюль впервые проклял праздное любопытство, присущее всем женщинам, и пробормотал:

- Доктор запретил мне курить трубку. Я перешел на сигареты.

Через несколько дней счастливые любовники заговорили о Жане.

- В его лице всегда было нечто криминальное. Пожалуйста, не думай, что я был его другом, - сказал Жюль.

- Ты прав, как всегда, мой гордый лев, - томно промолвила Марго.

- Этот негодяй за мной ухаживал, но я знала, что он способен только на низость.

Газеты, продолжавшие интересоваться "сенсационным убийством на улице Алезия", напечатали интервью, в которых госпожа Вэво и господин Жюль Алует, делясь своими впечатлениями от убийцы, повторяли суждения,

высказанные ими в интимной беседе.

Один из номеров газеты, содержащий эти интервью, случайно попал в тюрьму Санте, и Жан прочел его. Но да позволено мне будет умолчать о том, что он испытывал при этом. Есть чувства, которых лучше не называть, как не называли древние иудеи бога, а суеверные кастильцы - змею.

Настал день суда. Ввиду того, что процесс был назван газетами "романтическим", пришло много публики, главным образом женщин. На суде Жан держал себя так же как и во время следствия: не признаваясь в совершенном преступлении, он не делал ничего для своей защиты, ограничиваясь краткими и малоубедительными ответами:

- Нет, не знаю... Сказать не могу...

Лишь во время речи защитника произошел небольшой инцидент, сильно взволновавший женскую аудиторию. Молодой адвокат, вначале изложил гипотезу о том, что Вэво убили неизвестные грабители и, понимая всю ее неправдоподобность, стал напирать на то, что если даже Лиме является убийцей, то он убил мужа женщины, которую страстно любил, и поэтому заслуживает всяческого снисхождения. На этом месте речи подсудимый, все время сохранявший полной спокойствие, вскочил и раздраженно крикнул:

- Если я убил Вэво, то хотя бы ради денег. Прошу госпожи Вэво не касаться!

Это выступление не только разочаровало дам, пришедших взглянуть на романтического убийцу, но и ожесточило судей, размягченных речью адвоката. Все же, благодаря красноречию молодого защитника, Жану Лиме было дано снисхождение, и суд приговорил его к бессрочной каторге.

Так кончилась жизнь студента математического факультета Жана Лиме, и началась другая - арестанта номер 348 каторжной тюрьмы Нанта. От своего прежнего существования, кроме воспоминаний, которых люди еще не научились отнимать при различных осмотрах и обысках, арестант номер 348 сохранил маленькую пенковую трубку.

Арестант номер 348 был одет в полосатый дурацкий халат. На нем было восемнадцать черных полос и семнадцать белых. Арестант номер 348 плел кули из рогожи. Когда он сплетал десять кулей - он начинал их расплетать, - так приказал ему надзиратель. Из одного вороха он сплел тысячи и тысячи кулей. Арестант номер 348 гулял, описывая круг по тюремному двору, загороженному стенами без окон. Впереди и позади шли другие номера, но номер 348 не знал их. Он делал восемнадцать больших кругов справа налево, потом поворачивался и делал восемнадцать кругов слева направо. В году триста шестьдесят пять суток. В сутках двадцать четыре часа. Номер

348 пробыл в каторжной тюрьме Нанта одиннадцать лет и четыре месяца.

Тюремщики говорили, что номер 348 хорошо ведет себя. Но они не знали, что номер 348 был счастлив, так счастлив, как редко бывают счастливы люди не только в каторжных тюрьмах, но и в городе счастливых, в Париже. У номера 348 в тюрьме оставалась скука, долгие шаги и долетавший в окошко ветер с моря. Номер 348 знал долготу и мощь времени. Но он знал еще иное - далекую радость, улыбку Марго среди листвы парка Монсури, чужую любовь, ради которой он мерил длину бесконечного круглого двора тюрьмы и плел кули из неубывающей рогожи. Жан Лиме, та звали когда-то номер 348, любил Марго. Марго любила Жюля. Может быть, полубог с ледниковыми очами сразил бы Марго или Жюля. Но номер 348 любил, как может любить собака, горячим шершавым языком лижущая руку наносящую ей побои; любя так, он был счастлив, и счастья его никто не мог понять.

Люди зовут время жестоким, но время милосерднее людей. Если кончается июньская ночь влюбленных, то приходит срок и тому, что люди именуют "бессрочной каторгой". Когда прошли одиннадцать лет и четыре месяца, номер 348 заболел и почувствовал, что скоро умрет. Он лежал на койке и держал в руках трубку, но закурить ее уже не мог. Трубка, когда-то нарядная и невкусная, стала черной, рабочей, родной. Глядя на нее, номер 348 вспомнил, где он ее нашел, и блаженно улыбнулся. Потом он попросил сторожа переслать после его смерти трубку господину Жюлю Алюет в Париж и забылся. Очнувшись, чем-то сильно обеспокоенный, он снова взял трубку и уже неповоротливыми, костенеющими пальцами сорвал с нее кольцо, на котором под нагаром и пылью таились инициалы "Ж.А."; после этого, успокоенный, он глухо прошептал: "Марго", - и умер.

Супруги Алюет жили тихо и хорошо. Бросив стихи, Жюль стал писать рецензии в толстых журналах, и теперь его часто угощали ужинами молодые поэты. Марго потолстела, но не подурнела. Детей у них не было - сначала потому, что в квартире не было детской комнаты, а потом вследствие мировой войны. Из глаз Жюля исчезла собачья нежность, он теперь самодовольно шурился, как хорошо раскормленный кот. У Жюля были любовницы, у Марго любовники, но супруги любили друг друга нежно и ровно, как светит матовый

фонарь будуара. Они давно позабыли о бурных днях "сенсационного убийства на улице Алезия". Получив от администрации нантской тюрьмы старую трубку, Жюль Алует ничего не вспомнил. Впрочем, эта обкуренная трубка так же мало походила на другую, которую он пробовал когда-то курить, желая приблизиться к облику Верлена, как долгая жизнь арестанта 348 мало походила на легкий поцелуй среди листвы парка Монсури. Взглянув на трубку, Жюль ничего не вспомнил; брезгливо поморщась, он отставил пакет.

- Какая гадость! - сказала за него и за себя умная Марго.

Литературный критик Жюль Алует, у которого я иногда бывал по пятницам на журфиксах, вместо рецензии в толстом журнале подарил мне, как чудаку, собирающему трубки, наследство арестанта номер 348, и эта трубка стала моей любимой. Я знаю, где нашел ее Жан Лиме, знаю также, как старался номер 348, умирая, снять с нее почерневшее колечко. В его глазах, в человеческих глазах, а не в ледниковых очах полубога, была преданность издыхающего пса. Я курю ее, чтобы научиться любить любовью верной и бескорыстной, как любят только покинутые матери, кроткие рогоносцы и уличные псы, как любил женщину по имени Марго, спавшую со многими, много плакавшую и после слез неизменно пудрившую нос, печальный каторжник номер 348.